

საერთაშორისო  
საბავშვო ლიტერატურა

ლიტერატურა

ბრუნა

1

1975





*Новым,*

*1975, годом!*

Морис ПОЦХИШВИЛИ

*С Новым годом, с новым счастьем, мой народ!*

Мравалжамиер, вершины гор могучие,  
пастухи, стада пасущие над кручами,  
позы юные, что в долах расцветут,  
виноградарей неутомимый труд.  
Землепашцы и певцы — собратья

славные,

Мореходы, что штормуют в дальнем  
плаваньи.

Пусть всегда мечта тревожит вам сердца,  
пусть горенье ваше длится без конца.  
Мравалжамиер, недремлющие матери,  
будут дети к вам и нежны, и внимательны.

И под снегом не уснет любви ручей,  
и взойдет заря над Грузией моей!

Земляки мои, не знающие устали,  
сердце Грузии в сердцах я ваших

чувствую.

Твердо знаю, что по вашему пути  
буду с вами до скончанья дней идти.

Пусть цветет мечта, пускай ни на

мгновение

в этом мире не иссякнет вдохновение.  
Снегопадом несказанной красоты  
пусть летят к земле весенние цветы.  
Злитесь вьюга, уходите зиме не хочется,  
но из года в год сбывается пророчество,  
и придет на землю Грузии весна —  
так решила, так велит моя страна!  
Будь, народ мой, вечно бодр и вечно

бдителен!

Изо всех невзгод ты вышел победителем,  
перед юностью твоею — сто дорог.  
В этом — вечного цветения залог.

Пусть всегда от сердца к сердцу  
струны тянутся,  
пусть влюбленные вовеки

не расстанутся,

пусть мечты не прерывается полет.

С Новым годом, с новым счастьем,  
мой народ!



# Литературная Грузия



Ежемесячный  
литературно-художественный  
и  
общественно-политический  
журнал



Орган Союза писателей Грузии

11

ЯНВАРЬ



19 Издательство ЦК КП Грузии 75





# «ლიტერატურული გრუზია»

(რუსულ ენაზე)



ქრველთვიური ლიტერატურულ-მხატვრული  
და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ჟურნალი

წელიწადი მე-19

№ 1

იანვარი, 1975 წ.

საქართველოს საბჭოთა მწერლების კავშირის ორგანო



Главный редактор

Георгий ЦИЦИШВИЛИ

Редакционная

коллегия:

Григол АБАШИДЗЕ,  
Тенгиз БУАЧИДЗЕ,  
Марк ЗЛАТКИН,  
Лавросий КАЛАНДАДЗЕ,  
Серго КЛДИАШВИЛИ,  
Георгий МАРГВЕЛАШВИЛИ,  
Владимир МАЧАВАРИАНИ,  
Михаил МРЕВЛИШВИЛИ,  
Гурам ХАРАИДЗЕ  
(заместитель главного  
редактора),  
Владимир ХОМУТОВ  
(ответственный секретарь),  
Георгий ХУЦИШВИЛИ,  
Эммануил ФЕЙГИН,  
Алеко ШЕНГЕЛИА.

Год издания

19-й

**АДРЕС  
РЕДАКЦИИ:**

ТБИЛИСИ, 380008, УЛ. ЛЕНИНА, 5

Приемная — 99-06-59

Главный редактор — 93-65-15

Заместитель главного редактора —  
93-13-57

Ответственный секретарь — 93-31-28

**ОТДЕЛЫ:**

Отдел прозы и очерка  
(редактор КОРИНТЭЛИ К. Н.) —  
93-31-43

Отдел поэзии и искусства  
(редактор ЗИНИНА В. Б.) —  
93-31-43

Отдел критики и публицистики  
(редактор ДОБРОДЕЕВА Л. Т.) —  
93-65-19



Рукописи объемом менее авторского листа не возвращаются.

Технический редактор Макалатия Г. Н.

Корректор Галионджян Н. А.

© «Литературная Грузия», 1975 г.



# Содержание

## ПОЭЗИЯ

ИРАКЛИЙ АБАШИДЗЕ. Из цикла «Гимн жизни на Земле». Перевод Юрия Ряшенцева . . . . .	5
ФРИДОН ХАЛВАШИ. Спасибо Ленину! Перевод Владимира Лугового . . . . .	5
МОРИС ПОЦХИШВИЛИ. С Новым годом, с новым счастьем, мой народ! 2-я страница обложки.	
ДЖАНСУГ ЧАРКВИАНИ. Радуга моей земли. Перевод Михаила Синельникова . . . . .	6
МАРТИН КАРАМЯН. Руку, Новый год! Перевод с армянского Глана Онаняна . . . . .	39
ФЕДОР БУЛАВИНЦЕВ. Памятник . . . . .	47

## ПРОЗА

АЛИО АДАМИА. Большая и маленькая Екатерины. Роман. Перевод Татьяны Соколовой-Рухадзе . . . . .	9
СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН. Смирновский Родион Гаврилович. Глава из повести «Комиссия» . . . . .	22
ГУРАМ РЧЕУЛИШВИЛИ. «Безмянный из Уплисхихе». «Батарека Чинчараули». Новеллы. Перевод Камиллы Коринтэли . . . . .	40
ВЛАДИМИР ОСИНСКИЙ. Последний штрих. Фантастический рассказ . . . . .	48

## ОЧЕРК

ТЕНГИЗ ГАМКРЕЛИДЗЕ. Автозаводцы . . . . .	52
---	----

## КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

КОБА ИМЕДАШВИЛИ. Пафос утверждения личности	57
МАНАНА ГВЕТАДЗЕ. Полдень . . . . .	62



## ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ

ВАГАН ТЕРЯН. Акакий Церетели в Москве . . . 67

## ТРИБУНА ПИСАТЕЛЯ

ЛАВРОСИЙ КАЛАНДАДЗЕ. Слово во славу слова . . . 70

## ИСКУССТВО

ЗАИРА РАТИАНИ. Тепло рук человеческих . . . 75

## ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА

МИХАИЛ ЗАВЕРИН. Когда поэт с поэтом говорит . . . 82

## ВСТРЕЧИ И ВОСПОМИНАНИЯ

ВЛАДИМИР ПОКРОВСКИЙ. Пари . . . . . 87

## НАУКА

СИМОН КАУХЧИШВИЛИ. Свидетельствует Гораций . . . 89

## В МИРЕ КНИГ

ШОТА РЕВИШВИЛИ. Вклад в марксистское литературоведение . . . . . 90

ГЕОРГИЙ ШЕТЕКАУРИ. Грузинские предания и легенды — на русском языке . . . . . 92

ДИТМАР РОЗЕНТАЛЬ. Исследования стиля писателей . . . . . 94





Фридон ХАЛВАШИ

## Спасибо Ленину!

За солнце, отраженное в очах,  
За светлый путь, указанный  
народу,  
За возвращенный мне родной очаг,  
За право — славить песнями  
свободу —  
Я говорю:  
Спасибо Ленину!

Не только стен родных и потолка  
Меня навек враги лишить хотели,  
Я был лишен  
родного языка!  
За счастье — с этих пор и на века  
Благоговеть пред слогом Руставели —  
Я говорю:  
Спасибо Ленину!

Светящиеся грозди я сниму,  
Забродит солнце в сумраке марани,  
И, повинувшись сердцу своему,

На празднике я чашу подниму  
Перед народом,  
небом

и горами,

Чтобы сказать:  
Спасибо Ленину!

Добром и правдой Родина сильна,  
Ее рассветы с каждым днем  
светлее.

В грядущее мечтой устремлена,  
Трудом и песней  
говорит она

И люди всей планеты вместе

с нею —

Спасибо Ленину!

Спасибо Ленину!

Перевод Владимира ЛУГОВОГО

Ираклий АБАШИДЗЕ

## Из цикла „Гимн жизни на Земле“

*«Ныне, вступив в атомный век, мы обладаем выбором между уничтожением нашего рода (и, может быть, даже и превращением нашей планеты в лишенную любых форм жизни) и улучшением нашего образа жизни на этой планете — улучшением и для личности и для общества — на протяжении тех двух миллиардов лет, в течение которых наша планета, по предсказаниям астрономов, будет пригодна для человеческого обитания».*

А. Тойнби

Нет, наш мир — не Сахара.  
Еще не владыки над светом  
Ни жестокая жажда,  
ни голод, сводящий с ума.  
Жуткий страх вымиранья  
еще нашим душам неведом.  
И Земля раскрывает пред нами  
свои закрома.  
Нет, не слышно потопа,  
Грозящего с яростным ревом  
Смыть адамово племя и весь его  
древний уклад.  
В щедром лоне земном,  
перед нами раскрыться готовом,  
Нескончаем  
почти что не тронутый сказочный клад.

Нет, о нет, говорю,  
мы не лакомство для людоедов,  
И дыханием вещим мы воздух  
волнуем земной,  
И на дне океана,  
исполненном дивных секретов,  
О, какие сокровища ждут нас,  
хранимы волной!  
Нет, могуче и сонно вздыхает  
тайга за тайгою...  
Рано ставить кумирни безумному  
богу чумы!  
И еще ни с сознанием конца,  
Ни со смертной тоскою,  
Ни в поступках, ни в мыслях  
покуда не знаем мы.



Спит пока еще тундра —  
Хотя бы дымок иль яранга! —  
Спит еще енисейская чаша свежо  
и темно,  
Спят еще непролазные хищные  
джунгли вдоль Ганга, —  
Но уже им цветенье и празднество  
впредь суждено!  
И пока еще горы на юге пустынны  
и голы,  
А Иран раскален,  
как жаровня на адском огне.  
И Голодная степь  
лишь вчера утолила свой голод,  
И колхидская гроздь  
лишь вчера отразилась в волне.  
И пока чуть видны,  
И пока лишь томятся уныло  
Без людского дыханья  
Пространства судьбы мировой.  
И пласты целины  
Лишь слегка приоткрыло светило,  
И казахская степь  
Лишь вчера обняла нас впервой.  
Пусть же —  
грудь нараспашку —  
Откроет нам недра планета  
Для бессмертных посевов,  
Для наших высоких затей.  
Мы — единое племя, хозяева белого  
света.  
Мы — два мира, две мысли единой  
Планеты Людей.  
Уж вражда, так — с враждой,

Уж война, так — с войной.  
Да святится  
Человеческий гений повсюду:  
вблизи и вдали!  
И да крепнут людские дела  
и да светятся лица  
Под живыми и мирными флагами  
нашей Земли!  
Нам одно лишь дано,  
Нам одно лишь дано для избранья:  
Или гулкий потоп  
иль победно светящийся очаг.  
Лишь вселенское счастье —  
вот подвиг, достойный старанья,  
Лишь народная вера —  
вот истинно мощный рычаг!  
Нет, о нет! — и огню,  
Нет! — и скорбным вскипающим рекам,  
Нет! — фанфарам чумы:  
да не вскинута, не запоют!  
И да будет Земля, разродившаяся  
человеком!  
И да будет Земля, наш великий,  
наш милый приют!..  
Нет, наш мир — не Сахара.  
Еще не владыки над светом  
Ни жестокая жажда,  
ни голод, сводящий с ума.  
Жуткий страх вымиранья  
еще нашим душам неведом.  
И Земля раскрывает пред нами  
свои закрома!

Перевод Юрия РЯШЕНЦЕВА

Джансуг ЧАРКВИАНИ

## Радуга моей земли

### Мози

Снова — мысль о тебе,  
Ведь о смерти раздумывать рано.  
Как Земля во Вселенной,  
Вращается Солнце в мозгу.  
Думы древних вулканов проснулись..  
Шота и Джордано!<sup>1</sup>  
Улыбаются мне..  
Ходит Солнце в планетном кругу.  
С ним сроднившись душой,  
Я стою на обветренном склоне,  
В лунноцветную кровь мою  
зарева Солнца влились.  
Вещий страх перед смертью,  
Слегка покачав на ладони,  
Брошу к Солнцу,

Швырну,  
Словно белого голубя, ввысь.  
Так кончается ночь,  
Так мой день начинается каждый,  
И враждой и любовью,  
И шумом потока полны..  
Как в жару  
Желоба затихающей мельницы,  
Жаждут  
Все извилины мозга  
И жизни, и свежей волны.  
Только время настанет,  
И, Солнцем во тьму уносима,  
В тучах скроется молодость,  
Белая ночь уплывет.  
Я сгорю,  
Я сгорю,  
На мгновение стану красивым..  
К мозгу кровь подойдет,  
Остановится круговорот.

<sup>1</sup> Шота Руставели и Джордано Бруно.





## Руки

Опишу вам я только мужские рабочие  
руки,

Две руки —  
Две руки,  
Две дороги, бегущих в поля...  
При полуденном солнце,  
При лунном, чуть видимом круге  
Я гляжу на тебя неотрывно,  
Родная земля.  
Я две мысли связал,  
И срослись они в солнечном свете,  
Я своими руками привил к черенку  
черенок...

Только дума о детях  
И дума о родине... Третьей  
Я не знаю заботы,  
Не ведаю больших тревог.  
Руки,  
Руки мои,  
Вы трудились, не ведая лени,  
Чудеса показали,  
Невиданные для очей,  
Вашей мощью крутой  
Я планету привел в изумленья,  
Для великого дела  
Сильнейших собрал силачей.  
Грудь могучей земли,  
Пашня,  
Руки тебе простирая,  
Я хочу, чтобы в них вырос твой  
ослепительный свет,

И кому, как не им,  
Свежий жар твоего урожая  
Воспринять, словно первенца,  
Коему равного нет...  
Могут зло оттолкнуть;  
Приласкать;  
Овладели штурвалом  
И мячом, и пером;  
И комбайн им покорен, и плуг...  
И не кажется мне  
Круг земной  
Ни большим и ни малым,  
Ибо все, что на нем, даже почва, —  
Творение рук.  
Мысль заветная,  
К сердцу  
Тебя прижимаю  
Руками,  
Пусть горячему сердцу  
Дорогу укажут они.  
На распутья — соблазн,  
На пути — преткновения камень...  
Если хочешь спастись,  
На рабочие руки взгляни!  
Только разве средь нас есть питомцы  
бессмертья,

И кто-то  
Вечность всю напролет  
Видит жизнь и не может заснуть?!

Две руки,  
Две руки,  
Два стихающих водоворота,  
Как большие цветы переломятся, лягут  
на грудь.

## Глаза

Видят очи мои далеко...  
Улетает далеко,  
От людей — к человеку,  
От близкого моря — в моря,  
Этот взгляд мимолетный,  
Всевидающей совести око,  
И возносит мольбу,  
Благодати  
Отчизне моля.  
О, родная земля,  
Ты в столетиях кровью омыта,  
Вижу я и сейчас,  
Как тебя предавали огню.  
Я укрою тебя,  
Я приму тебя всю под защиту,  
Опущу я ресницы,  
В очах я тебя сохраняю!  
Я люблю твои сны.  
Их стоцвьем взволнован и взболтан,  
Ночью бодрствует дух,  
Пусть опущены веки,  
Но мне  
При полуденном солнце,  
При месяце, зелено-желтом,  
Как табачный листок,  
Ты все видишься,  
Даже во сне.  
Так возрадуйся Солнцу,  
К его золотому потоку  
Припади, словно к чаше,  
И полною мерой испей.  
Пусть  
Твой солнечный лик  
Обратится к восходу, к востоку,  
Пусть о новой заре  
Мир узнает из песни твоей.  
Видят очи мои далеко...  
Улетает далеко,  
От людей — к человеку,  
От близкого моря — в моря,  
Этот взгляд мимолетный,  
Всевидающей совести око,  
И возносит мольбу,  
Благодати  
Отчизне моля.

## Легкие

Наполняются легкие,  
От перегара и дыма  
Очищают тебя,  
Не твоя ли высокая грудь  
Ими дышит сейчас?..







# Большая и маленькая ЕКАТЕРИНЫ

РОМАН

## Книга вторая

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

#### ГЛАВА ПЕРВАЯ

Утром его разбудил школьный звонок. Он посмотрел на часы. Было восемь. Ему вспомнилось детство.

В школе, где учился Реваз Чапичадзе, сторожем работал бывший сельский дьякон Гуга Чапичадзе, который мастерски звонил в школьный колокольчик.

Утром, к восьми часам, он звонил долго и настойчиво. «Вставайте! Вставайте! Вставайте!» — трезвонил школьный звонок, и его голос достигал самых отдаленных уголков Хемагали.

Резо вскакивал с постели, складывал в портфель учебники и тетради, умывался и бежал в кухню.

Там уже суетилась мать, а на столе его дожидался завтрак: разогретые мчади, сыр и молоко.

Когда же Гуга Чапичадзе звонил к половине девятого, — поторапливайтесь, мол, не опоздайте! — Реваз уже был в школе. Ученики очень боялись опаздывать, но тем, кто жил на окраине деревни, не всегда удавалось прийти в школу вовремя.

Странный человек был этот сторож Гуга: ровно в девять часов, вытянувшись во фронт, он уже стоял у школьных ворот, и никто из опоздавших не осмеливался зайти во двор, несмотря на то, что ворота были открыты. Обычно в это время на балконе появлялась большая Екатерина и, несколько раз медленно пройдясь по нему туда и обратно, будто случайно бросала взгляд в сторону ворот.

— Пропустите их, Гуга. В последний раз! — увещевала она сторожа.

Гуга недовольно смотрел на Екатерину и сердито бубнил:

— Этот «последний раз» никогда не кончится. Ну до чего же избаловались эти бесенята!

Потом Гуга поворачивался спиной к опоздавшим ученикам и устремлял свой взор куда-то в небо — мол, так и быть, проходите, я вас не вижу...

И сегодня, как тридцать лет назад, звонок позвал Реваса в школу. Он, как в школьные годы, торопливо оделся, умылся и прошел в кухню. Там хозяйничал Александре и на столе стоял завтрак: хачапури, жареный цыпленок, разогретые мчади, свежий сыр, маринованный молодой чеснок и кувшин вина.

— Когда ты все это успел приготовить, отец? — удивился Реваз.

— Я? Да... нет... — растерялся Александре.

Пауза.

— Маленькая Эка принесла.

— Маленькая Эка? Зачем? — почему-то сердито спросил Реваз.

— Она сказала, что это ее мать прислала, поставила корзину на веранде и убежала.

Школьный колокольчик прозвонил второй раз.

— А где Сандро? — спросил Резо.

— Он ушел рано утром.

Пауза.

— Отец, ты сам завтракай, а я пойду в школу, у меня там дела, — Реваз и вышел из кухни.

Он медленно прошел по двору, легко перепрыгнул через изгородь и, прибавив шагу, поспешил в школу, чтобы не опоздать.

...Уже третье лето, как Русудан и Татия живут отдельно и мы с Сандро — тоже. А впрочем, почему третье лето? Уже целых три года! Год назад они всего только неделю и пробыли в деревне, в прошлом году они поехали отдыхать в Коджори, а этим летом отправились в Гагра, хотя мы договорились, что, как только в художественном училище кончатся занятия и студентов распустил на каникулы, Русудан с Татией приедут в Хемагали, а в августе мы все вместе поедem в Гагра. Но потом Русудан под предлогом каких-то дел осталась в Тбилиси и, заявив, что одна она жить не может, оставила у себя Татию.

Татия наотрез отказалась сдавать экзамены в институт иностранных языков, куда давно собиралась, и решила поступать в консерваторию, но не в этом году. Мать ее поддерживает. Она заявила, что у ее дочери и слух лучше, и играет она лучше, чем Дали Гардапхадзе. Мол, ей сам бог велел учиться в консерватории, если туда смогла попасть Гардапхадзе. Русудан намерена нанять педагогов, чтобы как следует подготовить Татию к поступлению в консерваторию на будущий год.

Так и не заехав в Хемагали, мать с дочерью отправились в Гагра, и уже оттуда Русудан написала мне письмо, в котором просила прислать к ней Сандро, если я сам не сумею приехать. Мне выбраться так и не удалось, а Сандро ехать один не захотел, заявив, что он предпочитает Черному морю Сатевелу. Я и не настаивал.

Русудан не сообщила мне о дне выезда из Гагра, решив, вероятно, что я и так хорошо знаю, когда и каким поездом она с Татией едет в Тбилиси и, если у меня будет настроение, я встречу их на хергском вокзале.

Она сердится на меня, но при чем же Сандро? Неужели она по нему не соскучилась? Я если не каждый месяц, то в два месяца раз обязательно бываю в Тбилиси, а Сандро в прошлом году приезжал со мной только на ноябрьские праздники, всего на два дня... Удивляет, очень меня удивляет твое поведение, дорогая Русудан!

...Русудан думает, что пройдет еще год, и Реваз закончит свои дела в Хемагали. Деревня почти вся заселена заново, шелковичные деревья выросли, лаборатория работает, виноградная лоза начнет плодоносить уже в этом году... Ему так хотелось выстроить новое здание для школы, он и это сумел сделать! Какие еще дела остались у него в Хемагали? Неужели он не откажется от должности директора совхоза? Нет, Реваз Чапичадзе не такой! Разве теперь кто-нибудь не согласится стать директором такого благоустроенного совхоза? Можно найти и руководителя лаборатории. Ведь Реваз в Тбилиси ждут жена и дочь, у него там свой дом с садом, хорошая работа в институте. Вот он возьмет и вернется в Тбилиси — в конце концов хватит ему жить отдельно от семьи! Слава богу, что догадался! Он всю жизнь должен быть благодарен Русудан за то, что она настояла на своем.

Самое большее — еще год, и мы с Сандро переедем в Тбилиси. Русудан известен даже день нашего приезда. Да, однажды ранним утром мы позвоним у ворот, и Татия, первой услышав звонок, еще полусонная побежит открывать калитку. Она распахнет ее настежь и бросится отцу на грудь. Сандро одним духом взлетит по лестнице, вбежит в комнату матери... Русудан быстро приведет себя в порядок, но к мужу выйдет с обиженным выражением лица, давая ему понять, что все еще сердится на него. Но она не сможет скрыть охватившей ее радости и, здороваясь с Ревазом, улыбнется ему. Смущенный Реваз не осмелится взглянуть ей в глаза и, опустив голову, тихо, совсем тихо скажет:

— Ты прости меня, Русудан! Вот мы и приехали...

Так думает Русудан, да нет, она просто уверена в том, что все произойдет именно так.

...Я знал, что они выедут из Гагра тридцатого августа сочинским поездом. Насколько мне известно, для отдыхающих санатория «Тбилиси» обычно бронируются места в седьмом вагоне поезда Сочи—Тбилиси.

Когда Сандро ложился после обеда спать, я сказал ему, что вечером мы поедем в Хергу. Было уже восемь часов, а он, казалось, и не собирался просыпаться, и хотя мне было его жалко, пришлось-таки его разбудить. Мне хотелось попасть в Хергу засветло: я почему-то боюсь водить машину в ночи. При чем боюсь не тогда, когда я один, а когда со мной рядом сидит кто-нибудь.



Только у самой Херги Сандро спросил, почему мы туда едем. Я сказал, что его мама и Татия едут в Тбилиси и мы должны их встретить.

— Они прислали письмо?

— Нет, мне сказали, — соврал я и посмотрел в сторону, чтобы не встретиться взглядом с сыном.

— Какой вагон? — спросил Сандро.

— Седьмой, — уверенно сказал я, останавливая машину около гостиницы «Перевал».

— Наш дом! — сказал Сандро.

Я посмотрел на часы. До прибытия поезда оставалось не меньше двух часов. Подумав, что Сандро проголодался, я решил, что нам нужно перекусить, и мы вошли в большой зал ресторана гостиницы.

Зал был переполнен, столы составлены в один огромный стол, который стоял вдоль стен зала. В центре зала стоял заставленный цветами круглый стол, за которым сидело пятеро мужчин.

Я схватил Сандро за руку и поспешил к дверям, но тут перед нами словно из-под земли вырос Диомидэ Арчвадзе.

— Реваз, дорогой, просим вас, — улыбаясь, сказал он и, не дожидаясь моего ответа, одной рукой обнял меня, другой — Сандро и подвел нас к круглому столу.

Я оглядел зал. За столом было много знакомых.

— Друзья мои, — басом начал Диомидэ, — на нашем свадебном торжестве случайно оказался дорогой гость. — И он стал представлять меня присутствующим: наш любимый и всеми уважаемый профессор, что и говорить, не чета другим профессорам. Реваз Чаличадзе широко образованный ученый, он не витает в облаках, как некоторые, а всегда среди людей, он любит свою родную деревню и т. д. и т. п. Не забыл Диомидэ сказать и о совхозе, и о плантациях шелковицы, и о шелковичном черве и затем категоричным тоном заключил: я написал новую пьесу «Сила шелковичного червя», главными действующими лицами которой являются как раз Реваз Чаличадзе, Екатерина Хидашели, Александре и Гулдаспир Чаличадзе. Скоро она будет поставлена в вашем любимом хергском народном театре, но премьера ее, как сюрприз, состоится на центральной площади хемагальского совхоза... Потом он не преминул похвалить Русудан, Татию и Сандро. Причем Русудан он назвал одной из талантливейших художниц нашей республики (а я-то наверняка знал, что он даже издала не видел ни одной ее картины), от которой мы вправе ожидать в будущем большего и которая, надо полагать, оправдает надежды поклонников ее таланта... У Русудан такая красивая, очаровательная дочь, и пусть Русудан на меня не обижается за такие слова, — она только тень своей дочери, хотя сама — красавица из красавиц. А Сандро, который стоит рядом с отцом как молодой дубок, — вы и сами видите, какой он стал, — уже мужчина. А умница — и не говорите! Учителя просто не нарадуются на него. Не забыл тамада и моего отца, Александре Чаличадзе, сказав, что хотя тот и постарел, но все еще полон энергии, как юноша, и не только дома, в совхозе без него как без рук... — Ну, а теперь прошу всех присутствующих присоединиться к моему тосту. — Он осушил свой рог, прокашлялся и очень громко, чтобы все слышали, крикнул:

— Да здравствует наш Реваз Чаличадзе! — И весь зал по его команде три раза прогудел: «Да здравствует наш Реваз Чаличадзе!»

Потом он наполнил мне рог, а Сандро протянул маленький стакан, приговаривая: «А для тебя вот такой стаканчик». Мы поблагодарили присутствующих за внимание, и Диомидэ представил нас жениху и невесте.

— Наша невеста, — сказал тамада, — дочь Бичико Саканделидзе. По образованию она историк, правда, она окончила заочное отделение Кутаисского педагогического института, но по знаниям не уступит многим, кто учился на очном отделении. Сам же Бичико трудолюбив, как пчела, и вообще милейший человек. Да вы и сами это лучше меня знаете, поэтому я о нем говорить больше не буду...

Правильно сказал Диомидэ, уж я-то хорошо знаю Бичико Саканделидзе: когда прокладывали дорогу между Хергой и Хемагали, он подвизался на стройке в должности снабженца. Я считал его порядочным человеком, по работе претензий у меня к нему не было, и я полностью доверял ему. Но в один прекрасный день я получил письмо, в котором меня спрашивали, что же это со мной случилось, что я души не чаю в этом воре и мошеннике. Конечно, мол, вам некогда, но вы найдите время и взгляните как-нибудь в дом № 12 по улице Джорджиашвили и заинтересуйтесь, как живет ваш любимый Бичико Саканделидзе. Еще недавно у него посреди голого двора стоял однокомнатный дощатый домишко; какой же такой клад он нашел с вашей помощью, что в течение одного года смог выстроить двухэтажный дом, посадил около пятисот саженцев виноградной лозы, наверное,



по сто корней яблонь, груш и айвы, обнес участок проволочной сеткой, поставил железные ворота? А если вы зайдете в дом к Бичико, то ваши глаза много чего интересного увидите. Мы, строители дороги, просим избавить нас от этого бора и мостовика. Далее следовало десять подписей.

Даже поверхностной проверки оказалось достаточно, и Бичико Саканделидзе был снят с работы, а заявление рабочих и материалы проверки пересланы в прокуратуру. Оттуда сообщили, что Бичико предстанет перед судом, но до этого дело не дошло... Говорят, что вмешался райисполком и решено было ограничиться снятием Саканделидзе с работы.

Саканделидзе довольно долго не показывался на людях, а потом устроился на хергский винный завод и вот теперь справляет свадьбу дочери.

Когда тамада начал тост за мое здоровье, Бичико посмотрел на меня, встал и, краснея, улыбнулся. Мне стало неловко, и я сказал ему, чтобы он сел. Он сразу же опустился на стул, закрыл лицо руками и просидел так все время, пока говорил Диомидэ.

— Что касается жениха, — сказал тамада, придавая своему голосу еще больше солидности, — то он мой близкий родственник, внук Кокинии Амашукели, а вы все, конечно, знаете, что девичья фамилия моей жены Амашукели. Но самое главное заключается в том, что наш дорогой жених мой крестник. Так что по матери зять Бичико — Амашукели, по отцу — Симониа, а вообще он — душа-человек. Правда, ни в кутаисском, ни в тбилисском институтах он не учился, и вы лучше меня знаете, почему он туда не поступал, — многозначительно сказал мне Диомидэ. — Но вы не думайте, что я хвалю его потому, что он мой крестник. Да, дай бог окончившим институты быть такими знающими и трудолюбивыми, как он. Вот уже пять лет он работает заведующим секцией в районном универсаме и не имеет ни единого взыскания... Мы с вами являемся свидетелями очень важного события в жизни двух молодых людей! Выпьем же за них, за их счастье и благополучие!

Диомидэ протянул мне рог, который жених наполнил вином, я выпил за молодых и, извинившись перед тамадой, откланялся.

В дверях стоял Шадиман Шарангиа.

Поздоровавшись с нами, он похлопал Сандро по плечу и внимательно посмотрел на него.

— Как же ты вырос! Ты меня узнал?

Сандро, почему-то смутившись, опустил голову и чуть слышно произнес:

— Вы отец Гелы.

— Верно, я отец Гелы! — обрадовался Шадиман. — Ты ведь в девятом классе учишься? И Гела тоже. Он как раз сегодня уехал в Тбилиси. А ты не собираешься?

— Нет! — решительно сказал Сандро. — Я учусь в хемагальской школе.

— Вот так-так! — удивился Шадиман. — Значит, ты учишься в Хемагали? Ну и молодец! А Гела — в Тбилиси. Можно узнать, куда это отец с сыном собрались?

— На вокзал, — сказал я, протягивая Шадиману сигареты.

— Уже месяц, как я не курил и вина в рот не брал, — сказал он, приложив руку к сердцу. — Это Диомидэ меня сюда позвал. Так вы на вокзал? — удивленно переспросил Шадиман. — В Тбилиси собрались?

— Русудан и Татия будут проездом сочинским поездом.

— А-а! Понятно! Если бы я раньше знал, то своих тоже отправил бы этим поездом.

Мы вышли на улицу. Со стороны Хевисцкали веяло прохладой.

— Значит, ты учишься в Хемагали? А маму с сестрой провожаешь в Тбилиси? Хорошо! — сказал Шадиман и опять потрепал Сандро по плечу.

Шадиман во всех подробностях знает все события, которые происходили в нашей семье. Ему было известно, что Русудан и Татия провели лето в Гагра, что мы с Сандро живем в Хемагали, что Дареджан вышла замуж, и теперь в доме осталось трое мужчин: Александре, Сандро и я, что Лили бросила Звиада, и старания багони Нико и калбатони Текле вернуть невестку домой пока что остаются тщетными... Да, Шадиман в курсе всех наших запутанных семейных дел, а задает такие вопросы, словно понятия ни о чем не имеет.

Я усадил Сандро в машину, сказав, что он может часок вздремнуть, а мы с Шадиманом перешли улицу и сели на скамейке на берегу Хевисцкали.

В этом месте, выйдя на равнину, Хевисцкали широко разливается и течет уже медленно и бесшумно. Иногда только она вдруг плеснет волной, но этот звук тотчас поглощает тишина. И снова ни звука.

Мы сидим на скамье, и на наши лица падает свет из ресторана. Я курю. Шадиман опустил голову, и этот всегда энергичный и веселый человек показался мне сейчас усталым и грустным.



— Свадьбы часто справляют в ресторане? — словно между прочим спросил я Шадимана.

— Не так уж часто, — неохотно ответил он и достал из кармана сигареты.

— А сказал не курю?

— Иногда приходится. Чтобы разогнать тоску-печаль.

— У Вичико Саканделидзе двухэтажный дом, крестника Диомидэ Арчвадзе получил в зятья. А почему он дома не устроил свадьбу?

Пауза.

— Где уж там! Боится он приводить гостей к себе в дом, — язвительно сказал Шадиман.

— Не хочет показывать наворованное? Так такой пир в ресторане разве не больше бросается в глаза?

— Свадьбу его зять устроил, — сказал Шадиман, бросив недокуренную сигарету в реку.

— Видно, зять тоже не из бедных!

— Да, тестю трудно с ним тягаться, — улыбаясь, сказал Шадиман. — А, собственно, что зять? Он работяга, сын обеспеченных родителей, отец с матерью у него еще молодые... Приобретать имущество не грех, вот только если оно приобретено нечестным путем, то оно плохо пахнет и воздух вокруг отравляет.

Шадиман встал и посмотрел на часы.

— Вы мое письмо не получили? — Шадиман посмотрел мне в глаза.

— Нет.

— Я вчера передал его шоферу вашего грузовика.

— Нет, не получал я.

— Значит, завтра получите. Ответ не пишите. За ответом я сам приеду в Хемагали.

Пауза.

Из ресторана послышалось пение.

Шадиман опять взглянул на часы.

— Я бы поехал с вами на вокзал, но, видно, свадьба в самом разгаре, и теперь там необходимо мое присутствие.

Извинившись, он попрощался со мной и направился к ресторану.

Осторожно, чтобы не разбудить Сандро, я открыл дверцу машины.

— Папа, мы не опаздываем? — спросил Сандро, и по его голосу я понял, что он волнуется.

— Сию минуту едем, — сказал я и включил мотор.

«Поехать-то мы поедем, потому что поезд скоро должен прибыть, но ведь вполне возможно, что Русудан и Татии в нем не окажется. В художественном техникуме занятия начинаются первого октября, а у Татии вообще нет никаких дел в Тбилиси, так что Русудан и Татия...»

— Папа, они в седьмом вагоне едут, да? — спросил Сандро.

— Я же тебе сказал. Ты что, забыл? — немного сердито сказал я и тронул машину.

«Да, возможно, что Русудан и Татия еще не собираются уезжать из Гагра. В Тбилиси жарко, и они вполне могли остаться на море, а я привез из Хемагали Сандро, и вот мы стоим на хергском вокзале в ожидании поезда из Сочи... Хорошенькое дело!»

Вот-вот должен прибыть поезд. Я явно волнуюсь, Сандро тоже не стоитя на месте. Он уже несколько раз спросил, откуда я знаю, что именно около нас остановится седьмой вагон.

Раздался гудок электровоза, и люди на вокзале засуетились.

Седьмой вагон остановился как раз напротив нас.

— Мама! — закричал Сандро.

Русудан стояла у окна и, увидев нас с Сандро, сначала как будто удивилась, а потом помахала нам рукой и улыбнулась.

— Здравствуй, Русико! — громко сказал я и, подойдя к вагону, протянул ей руку.

Русудан холодно пожала ее.

Сандро поднялся в вагон и, подбежав к матери, обнял и расцеловал ее.

Из купе вышла Татия. Теперь она обняла брата, и я увидел, как у смотревшей на них Русудан на глазах показались слезы.

Татия так загорела, что стала похожа на арабку. Ее смуглая кожа особенно оттеняла белки глаз и открывавшиеся в улыбке белые зубы. Настоящая арабка. Русудан тоже загорела. Раньше она боялась показаться на солнце, а теперь, видно, послушалась уговоров дочери.

Татия перегнулась через окно, я привстал на цыпочки, и так, дотянувшись друг до друга, мы поцеловались. Русудан могла сделать то же, что и дочь, но не захотела. Да нет, я должен был подняться в вагон, но сразу не сообразил, а теперь уже было поздно.



— Папа, почему вы не приехали в Гагра? — спросила Татия.

Пауза.

— Как поживаешь, Русико? — громко спросил я, внимательно глядя на нее.

— Хорошо! Очень хорошо! — сказала Русудан и улыбнулась.

А про себя подумала: «Как будто ты не знаешь, как я поживаю! Зачем спрашивать? Тебе ведь прекрасно известно, какая я была последнее время издерганная и расстроенная. Я в Гагра только потому и поехала, что надеялась, вы с Сандро приедете. Ну хорошо, у тебя нет времени, а Сандро? Почему ты Сандро не отпустил к нам? Назло мне делаешь? И еще спрашиваешь, как я живу. Как только тебе не стыдно!».

— Татия, ты, наверное, целыми днями не вылезала из воды, да?

Татия рукой показала, чтобы я замолчал.

— Русико, я приеду на ноябрьские праздники.

— Это было бы хорошо, — спокойно сказала Русудан.

— И Сандро привезу.

Русудан улыбнулась.

Про себя она подумала: «Если до ноября он не сможет приехать в Тбилиси, то на праздники, конечно, приедет и Сандро привезет. Только останутся-то они всего-навсего на два дня... Еще если они приедут на машине, то как-нибудь все вместе съездим за город... И только-то! А до ноября еще два месяца, целых шестьдесят дней и ночей!».

— Как здоровье дедушки Александре? — спросила Татия.

— Он на тебя сердит, — опередил меня Сандро.

Татия посмотрела на брата.

— За что?

— А за то, что ты в Коджори и Гагра ездишь, а к дедушке нет...

— Папа, он правду говорит?

— Да, правду, — поддержал я сына.

Русудан догадалась, что Сандро не осмелился сказать это ей и упрекнул Татию. Ей стало явно неприятно от этих слов сына, и мне даже показалось, что она насмешливо улыбнулась, словно давая мне понять — она знает, сын сказал то, что хотел сказать отец.

Я подумал: а Русудан ведь не спросила о свекре. Она сердита на моего отца, потому что глубоко уверена, что, если бы не он, я бы не поехал в деревню. Что бы этому одинокому старику переехать в Тбилиси и жить с детьми и внуками! Так нет, заупрямился, он, мол, не может бросить родной очаг в Хемагали... А своего сына заставляет бросить дом в Тбилиси, посеял в семье раздоры. Теперь-то он успокоился и свою невестку даже не вспоминает, поэтому и она о нем не спрашивает.

— Папа, а как Дареджан? — так просто, чтобы что-нибудь сказать, спросила Татия.

— Дареджан вышла замуж, — улыбаясь, сказал я, глядя на Русудан.

— Ой! — вскрикнула Татия.

— Так вот почему она осталась в деревне, — убежденно сказала Русудан.

Потом она погладила Сандро по голове и громко сказала:

— Я заберу тебя в Тбилиси, Сандро. Отцу ведь трудно с тобой?

— Посмотрим, — сказал я и взглянул на часы.

До отхода поезда оставалось три минуты. Оказывается, всего три минуты прошло и с тех пор, как он прибыл, а мы уже успели сказать друг другу все. Странно, мы так давно не виделись, а перебросившись несколькими фразами, исчерпали темы для разговора.

Мне о многом хочется поговорить с Русудан, да и с дочерью тоже, но разговора не получается. Русудан молчит и смотрит на меня холодным осуждающим взглядом: мол, если тебе нечего было сказать мне, для чего эта встреча? Но не может же она сказать, что они с Татией не ожидали увидеть нас на вокзале. В вагоне уже все спали, и только Русудан стояла в коридоре, выглядывая в открытое окно, и, конечно, еще издали заметила нас с Сандро. Она была уверена, что мы придем их встретить. И что же? Русудан сделала удивленный вид, но видно было, как она обрадовалась. Улыбаясь, она помахала нам рукой. Вот так мы и встретились. А потом? Потом я, кажется, спросил, как Русудан себя чувствует, и она ответила, что очень хорошо. Когда я сказал, что приеду на ноябрьские праздники и привезу с собой Сандро, она холодно ответила, что это мое дело, и на этом наш разговор закончился. И теперь она стоит у окна и смотрит на меня сверху вниз холодными глазами, а в душе бранит меня. Неужели ей нечего сказать мне? Не верю. Должно быть, она просто уверена, что я и без слов понимаю ее, но тут она ошибается. Я в полном недоумении, и язык у меня во рту стал как деревянный.

Шесть минут — много времени, очень много, но и они кончились. Я сказал, чтобы Сандро вышел из вагона. Русудан и Татия еще раз поцеловали его, и он



спустился вниз. Схватившись обеими руками за мою руку, он, весь дрожа, прижался ко мне.

Поезд тронулся. Русудан и Татия высунулись из окна и помахали нам на прощание. В ответ мы с Сандро тоже подняли руки. Потом в руке у Татии появился носовой платок, она отчаянно им замахала, Сандро достал из кармана свой...

Состав двигался очень медленно, потом электровоз дал длинный гудок и, набирая скорость, увлек за собой переполненные людьми вагоны в сторону Тбилиси. Умчался и наш седьмой вагон и унес наших Русудан и Татию.

Поезд был уже далеко, а Русудан и Татия все еще выглядывали из окна и продолжали махать нам руками. А мы с Сандро стояли на том же месте, где встречали седьмой вагон, и тоже махали вслед удалявшемуся поезду. Вскоре стал слышен только перестук колес. Поезд мчался к Тбилиси, снова разлучая нас.

Я уверен, что Русудан и Татия взгрустнулось и, стоя у открытого окна, они печально смотрят в темноту.

На ярко освещенном вокзале пусто, словно шедший из Сочи в Тбилиси поезд встречали только мы с Сандро, словно только седьмой вагон прибыл на хергский вокзал, а в этом вагоне — только Русудан и Татия.

Мы с Сандро уходим с вокзала, садимся в машину и едем в Хемагали.

...Я люблю быструю езду... Позади осталось Мотехили, и дорога пошла по сатевельскому ущелью. Шум реки отрезвил Сандро.

— Отец, почему ты не ходишь на рыбалку?

— Все как-то нет времени.

— Одолжишь мне сети?

Пауза.

— А ты разве умеешь с ними обращаться?

— Я ловил сетями Кокинии, а они больше наших! — уверенно и немного хвастливо сказал Сандро.

— Ну, если так, я дарю тебе свои.

Обрадованный Сандро удобнее устроился на сиденье и расправил плечи.

— Тогда я завтра утром пойду ловить рыбу.

— Один на Сатевелу не ходи.

— Да меня дедушка Александре одного и не пустит.

«Завтра на рассвете Сандро возьмет на плечо сети и пойдет на рыбалку. Он знает, что по утрам рыба обычно промышленляет пищу между камнями. Александре не отпустит внука одного и, конечно же, отправится на Сатевелу вместе с ним. Они наловят сатевельского усача, и, когда я вернусь домой, меня будет ждать на ужин жареная рыба. Александре наверняка похвалит внука за ловкость, и Сандро смутится, в душе радуясь дедушкиным словам. Я попробую рыбу и скажу, что еще никогда не ел такого вкусного усача. Сын залетится краской и взглянет на меня исподлобья, мол, правду говорит отец или шутит. Когда же он убедится, что рыба мне действительно понравилась, он очень обрадуется и почувствует себя настоящим рыбаком».

На повороте я сбавил скорость.

— Тебе не плохо, отец? — испуганно спросил Сандро.

— Нет. Просто я немного устал.

— Уже скоро приедем, — успокоившись, сказал Сандро.

— Да, скоро приедем. Спать хочешь?

— Нет, не хочу, — сказал Сандро и передернул плечами.

— Как только приедем, сразу ляжем.

«Сандро заснет, как только положит голову на подушку... А мне сегодня не спать. Я смертельно устал, но знаю, что заснуть не смогу... Русудан и Татия сейчас в поезде на пути в Тбилиси, а мы с Сандро едем на машине в Хемагали... По-моему, Сандро это не волнует, а ведь ему пятнадцать исполнилось. Неужели мать и сестра ему так безразличны?! Удивительно! Может быть, он скрывает свои переживания, жалея меня?»

Сандро заметил, что я задумался.

— Сейчас поворот налево, последний подъем и — Хемагали!

— Да, самое большее минут через пять мы будем дома. Спать хочешь, сынок?

— Нет!

«Уже сколько раз зевнул, а все пытается бодриться. Тоже мне, мужчина! Глаза-то слипаются... Ну, подъем кончился! Вот и наш дом. Теперь ложись и спи...»

В доме горел свет, а отец сидел на веранде. Он с радостью поехал бы в Хергу, чтобы повидаться с невесткой и внучкой и, может быть, уговорил бы их захватить в деревню, но я не предложил ему. Да, я не говорил ему, куда и за-





чем мы с Сандро едем. Он сам догадался, но виду не подал. Он и сейчас меня ни о чем не спросит, но когда останется наедине с Сандро, то уж ответит душу. Выяснит все досконально: внучек, как твоя мать себя чувствует? А Татия очень выросла? Она уже выше тебя? Ну, это так и должно быть. Пома, она будет выше тебя, а потом ты ее обгоняешь, ты же мальчик, а мальчики ведь... Что, они к нам не собираются? Нет? А почему? Так и сказали, что не приедут? Ну, и не надо. Пусть себе сидят в своем Тбилиси, — сердито, с обидой в голосе скажет отец. — Значит, не приедут? — еще раз спросит он Сандро и, не дожидаясь ответа, забудит: — Ты что, хуже Татии, что ли?.. Господи, боже мой, да пусть эта Татия живет в Тбилиси, и мы посмотрим, сколько времени она без нас выдержит! Посмотрим!.. Про невестку мой отец ничего не скажет. Она — совсем другое дело, она не его дочь, и Александре не может сердиться на чужое дитя. Поэтому весь его разговор крутится вокруг Татии, и бранит он ее. Он, конечно, знает, что Татию никто не спрашивает, хочет она в деревню или нет. Все зависит от Русудан. Как она скажет, так и будет.

Был уже четвертый час, когда Александре и Сандро легли спать.

Я разделся и тоже собрался было лечь, но вдруг заметил на столе письмо. Я догадался, что оно от Шадимана Шарангиа. У меня и без того было плохое настроение, а письмо Шадимана вконец меня расстроило. Мне стало его жалко, и я решил во что бы то ни стало помочь ему.

Включив свет, я вышел на балкон.

Ночь была прохладная и тихая, такая тихая, что слышно было, как в загоне жует жвачку корова.

...Поезд уже прошел Ципский тоннель и приближается к Хашури. Татия спит в купе, а Русудан все стоит у открытого окна вагона и смотрит в темноту, продолжая сердиться на меня.

«Так нельзя, Реваз! — думает она. — Похоже, мы скоро навсегда расстанемся... А ведь семья у нас была хорошая...»

Русудан женщина с характером, но при этой мысли и у нее дрогнет сердце, и к глазам подступят слезы.

Я должен был вместе с Сандро подняться в вагон, поцеловать Русудан и Татию и сказать им: «Давайте мне ваши чемоданы, да побыстрее! Надо спешить!» Русудан с удивлением спросила бы, для чего мне чемоданы. Как это, для чего? Не оставлять же их в вагоне. Быстрее, а то поезд тронется! Я бы не стал ждать ответа Русудан и открыл дверь купе. Я уверен, что их довольно внушительные чемоданы были уже приготовлены и лежали на полке. Конечно, они их упаковали! Ну-ка, Татия, Русико, быстрее, идемте! Русудан сделает вид, что не понимает, куда нужно идти. Домой, куда же еще! Да, домой, мама! Дедушка Александре ждет нас, придет мне на помощь Сандро. Взял бы я чемоданы, и Русудан и Татия без слов последовали бы за мной. Мы бы сели в машину и — в путь!

В машине Русудан села бы рядом со мной. Татия и Сандро о чем-то шепчутся, а мы с Русудан молчим. Потом Русудан заметит, что я не курю в ее присутствии, и, делая вид, что сердится, скажет:

— Я вижу, твоей душевнице не терпится. Кури!

Я бы с усмешкой протянул ей спички.

— Зажги мне, Русико!

Она сначала, конечно же, грозно взглянула бы на меня, но потом, улыбувшись, поднесла бы мне зажженную спичку.

И вот вся моя семья сидит в машине, мчащейся по сатевельскому ущелью, а я дымлю сигаретой...

Да, вот как надо было поступить!

А я? Здравствуй, Русудан! Как ты себя чувствуешь? Она: хорошо. Я: на ноябрьские праздники приеду в Тбилиси. Она: твое дело... И говорить стало больше не о чем.

Можно подумать, что на хергском вокзале я встречал дальних родственников, а не жену и дочку, с которыми давно не виделся. А что, скорее всего, так оно и есть... Дежурный вопрос о самочувствии... Долгие томительные шесть минут до отхода поезда... Наконец, поезд медленно тронулся, и мы на прощанье помахали друг другу рукой.

Мне до боли в сердце было жаль Русудан и Татию.

И Сандро так долго махал платком вслед исчезнувшему в темноте поезду, что мне его тоже стало жалко.

Русудан и Татия подъезжают к Тбилиси. Русудан опять стоит у открытого окна вагона. Ее страшит возвращение домой.

«Реваз даже не заикнулся о том, чтобы мы поехали в деревню. И словом не наметнул! Вот не ожидала! Зачем ему надо было встречать нас в Херге? Что



он хотел? Неужели только спросить, как я себя чувствую? И все? Если бы я знала, что все так получится, то не уехала бы из Гагра. Можно было пробить там еще целый месяц. А что теперь?.. К рисованию у меня душа не лежит. Боюсь, что ничегонеделание, тишина и тоска сведут меня с ума...»

А Татия спит себе спокойно... Отцу неизвестно, что творится в ее сердечке. Быть может, и Русудан лежит, закрыв глаза, но сон не приходит к ней. Жалко Русудан, ей-богу, жалко!

«Так нельзя, Реваз! Похоже, мы скоро навсегда расстанемся... А ведь семья у нас была хорошая...»

Я стою на балконе. Вот-вот взойдет солнце. Хемагали еще спит, спит и Тбилиси, спят пассажиры поезда Сочи—Тбилиси, все кроме Русудан, которая, стоя у открытого окна вагона, караулит рассвет.

Может быть, утро уймет боль ее сердца.

Дай бог!

«Так нельзя, Русудан! Если так будет продолжаться... Но нет!»

Александр и Сандро спят, спит Хемагали, я стою на балконе и смотрю на хребт Санисле. Вершины его уже посеребрились. Светает.

Приставив козырьком руку ко лбу, я где-то далеко-далеко вижу поезд, даже вижу седьмой вагон, у открытого окна которого стоит Русудан и в страхе смотрит на приближающийся Тбилиси.

Вижу ли?

Нет, ничего этого я, конечно, не вижу!

Сам себя обманываю...

Ему казалось, что он идет очень быстро, но в школу к началу занятий он все-таки опоздал.

От дома Реваза Чапичадзе до школы и километра не будет, но дорога ведет в гору, благо хоть подъем не очень крутой. А Ревазу понадобился почти час, чтобы его одолеть. Сколько раз он ходил в горы в Цхрацкаро, но никогда так не уставал. А там подъемы не сравнить с хемагальскими.

Он присел на скамейку у школьных ворот.

Прошло уже десять дней с тех пор, как он получил письмо от Шадимана Шарангиа. Прочитав его, Реваз решил завтра же повидаться с большой Екатериной, показать ей письмо и попросить ее помощи. Но этот завтрашний день слишком затянулся, и Шарангиа до сих пор ждет ответа. Правда, Шадиман написал, что за ответом он придет сам. Неужели правда придет? Нет, этого нельзя допустить! Какой скромный человек этот Шадиман! Десять дней он терпеливо ждет ответа, а его письмо так и лежит в кармане у Реваза.

Все эти десять дней Реваз не в настроении, и ни к чему у него не лежит душа.

Александр сразу заметил, что после поездки в Хергу сына точно подменили. Он стал поздно вставать и позднее обычного уходить на работу. Возвращается домой он рано, перекусит чего-нибудь и закрывается в своей комнате. К нему в гости никто не приходит, и сам он ни к кому не ходит. На работе не остался незамеченным, что Реваз последнее время не в духе, но сотрудники лаборатории не рискнули приставать к нему с расспросами, и только Гуласпир Чапичадзе спросил его прямо в лоб:

— Что, не приехала Русудан? Да, трудновато так жить!

— Знаю, — глухо сказал Реваз.

— Знать — это мало! Ты такие дела развернул, а с женой и дочкой не можешь справиться! Разве этому кто-нибудь поверит?

«Здорово я его поддел, мне даже страшно стало, что он не сдержится», — подумал Гуласпир.

Реваз ничего не ответил. Он только посмотрел Гуласпиру в глаза и так улыбнулся, что тот понял: уладит он свои семейные дела, просто это вопрос времени.

Реваз достал из кармана рубашки письмо, решив перечитать его еще раз до того, как показывать его Екатерине.

«У меня очень тяжело на сердце, батона Реваз! Вы знаете, моя жизнь сложилась так, что мне пришлось оставить школу и перейти работать в ресторан. Это было сразу после войны, и я боялся, что не смогу прокормить своих детей, а их у меня трое. Разве в этом было что-нибудь удивительное? Я воровал? Упаси меня бог! Разве все, кто работает в торговле, нечисты на руку? А люди думают именно так, и сколько я ни буду убеждать их в обратном, никто мне не поверит. Это отравило мне жизнь. Я и сам стал смотреть на вещи иными глазами, в голове у меня все перепуталось, по ночам стали мучить кошмары, и сердце уже не в си-



лах выдерживать все это. Вы не поверите, но я совсем изменился к семье, и с матерью стараюсь видаться как можно реже. Последнее время только щлю ей в письмах приветы и каждый раз обещаю приехать навестить, но никак не могу собраться с духом.

Первым ударом была для меня беседа с заведующим отделом просвещения. Он меня хорошо знает, и я попросил его назначить меня в какую-нибудь школу учителем истории или грузинской литературы. Он удивленно посмотрел на меня и усмехнулся. «Выражаясь фигурально, — сказал он, — я не имею намерения пускаться в стены школы... ресторанный крысу».

Тогда я поехал прямо в райком партии к Константи́не Каку́бери. Каку́бери сразу же спросил, что со мной случилось, — так я был взволнован. Я сказал, что ничего особенного, но, не в силах сдержаться, очень громко начал: — Ваш заведующий отделом просвещения наглец! Какое он имеет право обзывать меня ресторанный крысой?

Константи́не улыбнулся, и это окончательно вывело меня из себя. — Да, да, он глухой и циничный человек, так его и растаки!

Каку́бери опять улыбнулся, но я не понял, смеялся он надо мной или собирался утешить. «Успокойся», — сказал он, усаживая меня в кресло, а сам, пройдя несколько раз по кабинету, остановился передо мной и спокойно спросил, из-за чего мы поссорились. Глядя мне прямо в глаза, он еще раз повторил свой вопрос. Я рассказал ему все, как было. Учителем в школу? Преподавать историю? Да, сказал я. При этих словах Каку́бери расхохотался, как и заведующий роно, сильно хлопнул меня по плечу и посмотрел на часы.

— Сейчас из Тбилиси должны приехать гости, которые будут у тебя ужинать. Иди в ресторан и сам понаблюдай, чтобы все было как полагается, а в твоём деле разберемся завтра. — И он проводил меня до дверей кабинета.

На следующее же утро в ресторан нагрянули ревизоры, но у меня все было в порядке, и они ни к чему не смогли придраться. Узнав это, Каку́бери, оказывается, решил, что к Шарангиа прислали неопытных ревизоров, и на меня набросилась новая комиссия. Но она тоже не обнаружила никаких нарушений, и Каку́бери вызвал меня в райком: — Ума не приложу, что с тобой случилось. За тобой никаких грехов не числится, а ты надумал уходить из ресторана. Чтобы в другой раз я ничего подобного не слышал, глупости какие-то.

...Теперь я обращаюсь к вам, батоно Реваз! Может быть, у вас в сельской школе найдется для меня место учителя? Походатайствуйте тогда за меня перед Екатериной Хидашели...»

Реваз закурил сигарету и посмотрел на часы.

Через десять минут будет звонок. Он покажет письмо Шадимана Екатерине и попросит помочь ему.

— Доброе утро, Александрович! — неожиданно услышал он над головой голос Гуласпира.

Реваз встал, поздоровался с Гуласпиром за руку и предложил ему сигареты.

— Вы тоже в школу? — спросил Реваз.

— К большой Екатерине, — почему-то грустно сказал Гуласпир, закуривая.

— Сейчас как раз звонок, и мы пойдем к ней вместе.

— Реваз, большая Эка больна, она лежит.

— Разве вчера она не была в школе? — удивился Реваз.

— Ей к вечеру стало плохо. Сердечный приступ. Эх, сломалась большая Эка. Пока нужна была, она крепко держалась, а как добилась своего — сломалась. Я хочу узнать, не нужно ли ей чего-нибудь, а потом приду в контору, — сказал Гуласпир, собираясь уходить.

«Оказывается, большая Екатерина больна. Как же она могла нам прислать ту корзину с едой? Что-то хитрит маленькая Эка».

Реваз взял Гуласпира под руку, и они направились к дому Екатерины.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

«Ну, теперь поехали...» — тихо, почти шепотом сказал Габриэл Кикнавелидзе, садясь за руль и осторожно прикрывая дверцу кабины грузовика.

Нет, я ошибся.

Он только подумал это, а вслух сказать не решился, потому что наверняка знал: лежавшие в кузове большие винные кувшины тут же подхватили бы его слова. Габриэл мысленно благословил себя в путь, и грузовик медленно двинулся с места.

Он выехал из Херги поздно вечером.



В кузове машины в сене лежали шестипудовые глиняные кувшины для вина. Это из-за них Габриэл задержался в Херге, боясь, что в Хемагали его засмеют при виде огромных пустых кувшинов.

И в самом деле, было над чем смеяться: сам немущий, виноградника у него и в помине нет, и вдруг эти кувшины!

Но у Габриэла свои планы. Сначала он привезет их домой, найдет для них хорошее место где-нибудь в углу двора, а потом...

Когда он миновал Мотежили и дорога пошла вдоль Сатевелы, он остановил машину, выключив фары, вышел из кабины и присел на большом камне на самом берегу реки. Опустив руки в воду, он тихо сказал:

— Здравствуй, Сатевела!

Холодная вода показалась ему приятной, и, засучив рукава, он до локтей погрузил в нее руки. Потом он опустил голову и прислушался. В этом месте Сатевела течет бесшумно, и, конечно, она слышала слова приветствия, но не ответила.

— Ты на меня сердишься, Сатевела?

Сатевела вздохнула, и Габриэлу почудилось, что она что-то сказала, но это не было «здравствуй»...

— Я понимаю, почему ты не здороваешься со мной, — вдруг облегченно сказал Габриэл. — Ты же здесь не моя! Я в этих местах никогда не купался и рыбу тоже не ловил... Ни эти плакучие ивы, ни большой камень не знают меня... Здесь ты принадлежишь другому, Сатевела! Твой хозяева — жители Нигвзиани, это их право рыбачить и купаться здесь. Разве я должен был удивляться, что ты не приняла меня? Меня знает хемагальская Сатевела, та, которая течет у мельницы Абесалома Кикнавелидзе. Там она моя... а перед тобой, нигвзианская Сатевела, я извиняюсь... Я уверен, ты простишь меня, и поэтому уезжаю от тебя со спокойным сердцем, — примирительно сказал Габриэл и, вытерев о рубашку руки, встал.

И опять я ошибся.

Ни слова не произнес задумавшийся Габриэл, глядя на медленно несущую свои воды реку и словно прислушиваясь к чему-то, потом помахал ей на прощанье рукой и вернулся к машине. Осторожно закрыв дверцу, он медленно поехал берегом.

«Нет ничего удивительного в том, что нигвзианская Сатевела не узнала меня! Еще хорошо, что она сдержалась и не отругала меня! Что бы я ей ответил, если бы она вдруг спросила меня, кто я такой? Что я много раз проезжал мимо? Да сколько людей делают это каждый день! А разве я сам знаю всех, кто может проехать мимо моих ворот? И все-таки мне стало обидно: как же случилось, что мать не узнала своего сына?»

Он остановил машину и, выйдя из кабины, огляделся.

«Сейчас деревня спит. Спят Чапичадзе, спят и приехавшие жить в Хемагали недавно, ведь в деревнях ложатся рано, а встают ни свет ни заря. Да я и сам, когда жил в Хемагали, укладывался в постель как можно раньше и поднимался с петухами. А сейчас уже ночь на дворе, а я еще в пути с этими злополучными кувшинами... Хорошо, что Гуласпир Чапичадзе не увидит меня, а то уж он-то отвел бы душу, посмеялся бы надо мной... Вот я в феврале посажу двухгодичные саженцы и на будущий год пригласю тебя на сбор винограда. Что ты тогда скажешь, Гуласпир Чапичадзе? Также будешь надо мной смеяться? То-то же! Вот мы и сравним чапичадзевское цоликаури и кикнавелидзевскую цицку. Да, твое вино и мое! Разве ты верил мне, когда я говорил, что в наших местах цицка вызревает лучше и сахара в ней больше, чем в другом винограде? Нет, где уж там. Ты тогда плясал под дудку Джиноридзе и, чтобы его поддержать, то говорил, что просто погода была плохая для цоликаури, то жаловался, что опоздал вино вовремя перелить и оно немного прокисло. И каждый раз обещал, что на следующий год все будет по-другому. В общем, без конца только оправдывал свое цоликаури, а пил все больше мою цицку. Дай бог, чтобы она пошла тебе на пользу!»

— А теперь я поеду к моей Сатевеле, — громко сказал Габриэл Кикнавелидзе и, сильно стукнув дверцей кабины, рванул машину с места.

«За следующим поворотом мельница Абесалома Кикнавелидзе. Сейчас-то Габриэл не ошибется. Я голову даю на отсечение, что там не будет ни одной живой души! А если и будет, то еще лучше! Чужим там взяться неоткуда, а свои пусть посмотрят на мои кувшины... Да этим кувшинам по сто лет! Не мог же я оставить их в хергской земле?! Это шрошские кувшины моего деда, а кто не слышал о знаменитых кувшинах из Шроши, пусть себе смеется, сколько угодно. Кто на это обратит внимание?»

— Ну вот мы и приехали! — решительно сказал Габриэл, останавливая машину у дверей мельницы. — Да, прибыли мы, дорогие мои кувшинчики! Как ваше самочувствие? В дороге с вами ничего не случилось? Рады ведь, что возвращаетесь домой? Знаю, что радуется, слышал, как вы пели... Не го-



ворите, что не пели, кроме вас ведь никого в машине не было. Это от радости. Вот и сейчас тоже!...

Габриэл легко поднялся в кузов, откинул брезент, покрывавший кувшины, и крикнул:

— Вот мы и приехали!

«Вот мы и приехали», — гулко отозвались кувшины.

— Я этой же ночью найду для вас хорошее место, — тихо сказал Габриэл, снова накрывая кувшины, и спрыгнул на землю. — Как будто вы никогда и не были в Херге. Я же помню, как я вырыл вас из хемагальской земли и тайком от всех увез в Хергу. А как меня честил Гуласпир! Мол, этот бездельник забросил отцовский виноградник, бросил на произвол судьбы дедовы кувшины! Вы-то это помните? Ну, так пусть он думает, что вы все это время пролежали в земле здесь, в Хемагали. Дожидались меня. И я приехал. Ведь приехал!.. Вхожу я в марани и первым открываю тебя (ты зарыт справа сразу около двери), беру черпак и пробую вино. Я сразу узнаю мою цецку. Клянусь матерью, это цецка, а кто не верит, пусть сам выпьет! Главное, пусть ее попробует Гуласпир Чапичадзе.

Что, дорогой мой Гуласпир, это моя цецка поет первым голосом?

Я и моя бурка-а-а  
коротаем но-о-очь...

Ведь и правда первым голосом поет. Твой цоликаури вторым голосом вступить может? Нет, не может. Хорошо, что ты сам это признаешь. А зачем ты оправдываешься? Говоришь, вино ни при чем? Опоздал перелить, и оно прокисло?.. Или в прошлом году для цоликаури опять была плохая погода? И в позапрошлом, и в позапозапрошлом? Да ничего подобного! Давай-ка, дорогой мой, выкорчум твой старый виноград, а потом я сам поеду в Аргвета и привезу для тебя саженцы цецки. Ну его, этот цоликаури, у него такая толстая кожа, и опрыскивать его надо четыре раза в год. Легко ли это? Ты справляешься? Нет, конечно. Где взять столько времени? А может быть, и силы уже не те?.. Признайся! Ну-ка, посмотри, что записано в плане строительства совхоза, который лежит у тебя в сейфе? Цецка, мгалоблишвили, изабелла, алиготе... А цоликаури? Нету, не значит! Тогда почему ты уперся на своем и повторяешь слова Джиноридзе? Нет, говоришь? Ну, что ж, дай бог, дай бог! Возьми-ка стаканчик, я налью тебе своей цецки. Поет? Первым голосом? Тогда выпей за мою цецку! Выпил? Ну и спасибо тебе!.. А я выпью за твой новый виноградник. Вот и с этим покончено. Еще по стаканчику выпьем и споем. Почему бы и не спеть? У меня — первый голос, у тебя — второй. Басы? Басы тоже есть: я залезу в кузов машины, сниму брезент, присяду на корточки и начну:

Я и моя бурка-а-а...

А ты немного громче:

коротаем но-о-очь...

И тут вступают басы. Басы что надо, тебе понравятся! Это подтянут мои винные кувшины, а ты как думаешь! Мои кувшины поют! Они будут петь все громче и громче. Ты сначала удивишься, а потом расхохочешься. Я спрошу, что тут смешного, а ты все хохочешь и хохочешь. Рассердившись, я крикну тебе, Гуласпир, чтобы ты залез ко мне на машину и посмотрел на кувшины, большие кувшины моего деда, которые я не оставлял беспризорными в Херге. Ударь-ка этой своей кизидовой палкой по кувшинам! Да не бойся, они не сломаются, они же из Шроша, а тебе ли не знать работу шрошских мастеров! С сердитым видом ты заберешься на машину, замахнешься палкой, но твоя рука замрет в воздухе. Ты побоишься разбить кувшин. Я отниму у тебя палку, поднимусь на кувшин и начну изо всех сил бить по нему твоей тяжелой палкой, и мой кувшин зазвонит как церковный колокол... Ты остановишь меня, скажешь, что этот звон разбудит всю деревню. Это верно. Я перестану звонить, но кувшин еще долго будет гудеть, постепенно затихая, и, наконец, умолкнет. Ты ласково погладишь его и не удержись, чтобы не похвалить. Потом мы пропустим еще по стаканчику, конечно же, моей цецки. Чокнувшись, я скажу здравцу:

— Благословенны пусть будут эти кувшины, пусть долго живет и здравствует Гуласпир Чапичадзе, а Габриэл Кинавелидзе вместе с ним!

Выпьем!

Дай бог тебе здоровья за то, что ты встретил меня здесь в такой поздний час. А теперь мы с тобой поедem в мой новый дом. Ты будешь первым гостем, который переступит мой порог. Может быть, это принесет мне счастье.



Вот, наконец, и мельница Абесалома Кикнавелидзе! Вот и Сатевела Габриэла Кикнавелидзе... Старый бук — на своем месте, плакучие ивы протянулись ветки к реке и не шевелятся. Они спят, спит Сатевела.

Габриэл подошел к реке, стал на колени и, опустив руки в воду, прошептал ей:

— Здравствуй, Сатевела!

Опять прохладная вода показалась ему приятной, и, засучив рукава, он опустил руки в воду по самые локти и прислушался. Как и около Нигвзиани, Сатевела течет здесь спокойно и совсем неслышно. Она, конечно, слышала голос Габриэла, но не ответила.

— Ты сердиться на меня, Сатевела? Вот не ожидал! — громко сказал Габриэл и, поднявшись, повернулся спиной к реке. — Ты что, решила, я бросил тебя? — спросил он ее.

Сатевела вздохнула и что-то сказала, и в этом вздохе Габриэлу почудилось тихое «да». Он возмущился:

— Ты не права! Да, да, ты не права! Как только у меня выдавалось свободное время, я приходил к тебе. Приходил не рыбачить, а поговорить с тобой, приласкать тебя. Случалось, что, придя утром, я оставался здесь дотемна. Ты этого не помнишь? Забыла?

Он снова повернулся лицом к реке, опустился на корточки и, пригнувшись к самой воде, прислушался.

Река безмолвствовала, спал старый бук, спали плакучие ивы, и в тишине слышался только шепот Габриэла.

— Ты сердита на меня? А что ты скажешь тем, кто завтра и послезавтра накинется на тебя с сетями и удочками, забросает тебя динамитом, выловит и уничтожит всю рыбу? И останешься ты ни с чем... Ну, что ты им скажешь?

С мельницы Абесалома Кикнавелидзе не доносилось ни звука. Застыли в молчании и старый бук, и плакучие ивы...

А говорят, что вода и деревья видят в темноте. Пусть другие верят этим сказаниям! Это неправда, иначе как могло случиться, что Сатевела Кикнавелидзе и Чапичадзе не узнала Габриэла? И этот старый бук и ивы... Ты не видишь в темноте, Сатевела? Я тебя вижу, а ты меня нет? Значит, Гуласпир обманывает меня, когда говорит, что даже самой темной ночью ты его узнаешь сразу и ласково спрашиваешь, как он живет? Или ты правда не разглядела меня в темноте? А я все так отчетливо вижу: вот ты, вот мой берег, мои камни, моя белая галька! И этот покрытый мхом камень тоже мой, и эта тропинка! Почему ты удивляешься? Конечно, эта тропинка моя. Пусть Гуласпир и Александре Чапичадзе не говорят, что она ихняя. Ведь это я ее протаптывал от наших домов до мельницы! А она меня не узнала! Она тоже не видит в темноте! Неужели вы все меня не видите? Не верю! Вы меня узнали, — убежденно сказал Габриэл, — только не хотите со мной разговаривать, сердитесь на меня за то, что будто бы я бросил родной дом. Ведь так?

И река подала голос. Сначала Габриэлу послышалось тихое журчание, потом на берегу около большого мшистого камня Сатевела легко ударила волной о волну, волны обнялись, и в их шепоте Габриэлу послышалось — нет... нет... нет...

Перевод Татьяны СОКОЛОВОЙ-РУХАДЗЕ

*Продолжение следует*



«Литературная Грузия» в 1975 году наряду с произведениями грузинских писателей будет публиковать произведения русских советских писателей и поэтов. В этом номере мы печатаем главу из новой повести «Комиссия» виднейшего советского писателя Сергея Залыгина.

Сергей ЗАЛЫГИН

# СМИРНОВСКИЙ

## Родион

### Гаврилович

В новой работе я возвращаюсь к жизни далекого сибирского села в 1918 году.

В это время, перед началом массового партизанского движения, во многих районах Сибири фактически имело место безвластие — Советы были свергнуты, а Временное Сибирское правительство смогло утвердиться, и то непрочно, лишь в городах и по линиям железных дорог.

Мое внимание давно привлекал этот краткий, но своеобразный период дальнейшего выбора своего пути сибирским крестьянством, и я решил показать его, обратившись к самостоятельному крестьянскому Лесной Комиссии, которая ставит своей целью не только охрану леса, но и некое гражданское и общественное устройство своего села. (Отсюда и название повести — «Комиссия»).

Николай Устинов — главное действующее лицо повести, член Лесной Комиссии, — человек не только думающий — он относится к тому типу людей, для которых всегда важно знать — что думают вокруг другие люди?

Именно такого рода интерес приводит его к бывшему однополчанину, поручику Смирновскому.

Встреча Устинова со Смирновским и составляет содержание предлагаемой главы.

АВТОР.

Вот ведь какая история: выяснилось, что один лебяжинский мужик желает продать рабочего коня, мерина в возрасте шести лет. И нрав у коня хороший, и в работе его можно поглядеть в любое время.

В тот самый миг, когда слух дошел к Устинову — а дошел он к нему через Шурку, зятя, — Устинов готов был со всех ног броситься к тому мужику, но — какое обстоятельство! — мужик-то, который мерина продавал, был Севкой Куприяновым!

И, шагнув по избе два раза за шапкой и полушубком, Устинов остановился словно вкопанный, вздохнул, поморгал, да и вернулся назад на свое место, — он в то время сидел в кухне на табуретке, ремонтировал грунни хомут... Как-никак, а напрасно побитую им кобылу Груню надо было уважить, — хорошенько посмотреть и подремонтировать все ее снаряжение, а в легкой и хорошо подогнанной сбруе, которая нигде не трет, не жмет, Груня, может быть, и подольше согласилась бы походить.

А мерина-шестилетку Севка Куприянов продавал нынче будто бы вот по какой причине: сын его, Матвейка, твердо заявил, что в Лебяжке он жить больше не останется, уйдет в город, если же его не отпустят, он пришибет до смерти Игнашку Игнатова, а тогда все равно уйдет из дома, напрямиком в тюрьму.





Никак не мог простить Матвейка Игнашке Игнатову издевательства, которое он претерпел от него при порубке нескладной такой, неизвестно на какое дело пригодной лесины.

А ведь Устинов в тех издевательствах тоже участвовал. Хотя и поменьше других, хотя он и не вязал Куприяновых, а только разводил руками и твердил: «Вот те на!», но все равно заходить нынче в куприяновский дом и глядеть, как ни в чем не бывало, продажного мерина ему было нельзя! Невозможно. Задумавшись над вопросом, Устинов сильно пожалел Севку: как ему-то быть?

Не отпускать сына, так он ведь — стукнет Игнашку и вся недолга, а — отпустить? Нынче из города и с разных станций железной дороги, какие были хилые родственники у лебяжинцев, поприезжали на вольные деревенские харчи поправиться, а заодно подальше убраться от властей, которые чуть ли не ежемесячно плодились по Сибири, притесняли, обирали, хватали парней и мужиков в армию, чтобы тут же направить их против народа, на подавление беспорядков и восстаний, загоравшихся в разных местах. И хотя Лебяжку, да и всю самую отдаленную в губернии Крушихинскую волость, беда покуда миновала, лебяжинские мужики тоже хоронили своих парней в пашенных избушках и в банях, Матвейка же Куприянов в это самое время шел в город! Он был еще не призывного возраста, только-только о шестнадцати годах, но парень рослый, и кто там будет особенно разбираться, когда у него на лице и во всей фигуре обозначено: «К службе — годен!»?

Вот как получалось, и все — из-за одной нескладной лесины. После такого сочувствия Куприянову-отцу идти к нему показалось Устинову и еще больше не с руки... Послать же вместо себя зятя Шурку? Но и тут — проигрышный билет, Шурка нагородит бог знает чего, а дойдет дело прицениться к лошади — так вконец все испортит, — похлопает Куприянова по спине и скажет: «Ты — хороший, Куприянов, мужик!» Севка Куприянов догадается, похлопает Шурку: «А ты — еще лучше!» и после этого Шурка начнет его обнимать, словно бабу-молодку, и говорить: «А — что такое цена, Куприянов? Цена, Куприянов, дело маленькое. Главное, Куприянов, дружба по гроб жизни — вот что!»

Уж очень хорошо Шурка знал, что в жизни главное, а что — нет. Запросто знал, вот и жил с тремя ребятишками в избе тестя, а свое хозяйство никак поставить не мог.

Ну, а еще какой бы всякий другой мужик на месте Устинова нашел в этом деле ход?

Другой — послал бы свою бабу к Севкиной бабе.

Устинову и этот ход тоже не годился, он ему никогда не годился: жена его, Домна, слишком была гордой, чтобы ходить да разузнавать, прикидываться, будто пришла не по делу, а просто так. А может, она и действительно была неумелой в таких делах, Устинов и сам-то был в них неумел, тем более не научил жену.

Ведь как с ним случалось: займет кто-нибудь у него пятерку и не отдает, и не отдает, а он — нет чтобы потребовать собственное, еще и стесняется должника, обходит стороной, чтобы тот не подумал, будто из-за пятерки Устинов его преследует.

Был грех, и Устинов тяготился им всегда.

Но тут ему вспомнилось, что по поручению Лесной Комиссии он должен идти для беседы к Родиону Смирновскому, а сестра Смирновского — замужем за Севкой Куприяновым, а Матвейка — двоюродный брат куприяновских мальчишек.

\* \* \*

Лебяжинские ходили друг к другу по делу и просто так в любой час дня и ночи, без стука, без спроса.

Мысль вдруг в голове, или не виделись слишком давно, еще что — заходи, двери закидывать на крючок считалось неприличным: если в твоей жизни нет ничего плохого, тогда зачем ее прятать от чужих глаз?

Замки навешивались на амбары матерые, ржавые, и хотя любим гвоздем их можно было запросто открыть, но все равно, чем крупнее замок, тем вору должно быть страшнее к нему подступиться, а вот замок хотя бы и самый маленький на дверях жилой избы, это разве только у мужиков настолько богатых и жадных, что им свое богатство ночью и даже днем покоя не дает.

У всех же остальных обыкновенных и порядочных людей, если дома никого нет, стоит припертое к дверям полено, показывает, что здесь делать нечего — ни поговорить, ни новости узнать, ни спичку или щепотку соли занять нельзя — и все тут, вся охрана.

У Смирновских на ограде тот же самый был порядок, а вот заходить к ним люди стеснялись, разве уж действительно по делу.



У Смирновских и двор-то особый — таких на сто верст кругом не было. Поделен на скотскую и на людскую половину, людская — присыпана песочком, а посередке установлены гимнастические снаряды: турник и брусья на козлах — кольца и гладкий шест для лазания.

Летом, каждый божий день, а когда так и зимой, сыновья Смирновского Гаврила и Семен занимаются на этих снарядах и отец тоже исполняет разные номера, ничуть не хуже молодых.

Пройти через всю эту аккуратность, через этот песочный двор так же, как ты всегда и везде ходишь, нельзя и невозможно; необходимо сначала подтянуться, одернуть рубаху, построже определить шапку на голову, а может быть, и шаг взять, если уж не строевой, так твердый и быстрый. Ну, а зачем и к чему все это мужику? Ему проще вразвалочку пройти Лебяжку из конца в конец, чем пять саженой таким почти что военным шагом. Он в армии нашагался им досыта, а вернулся домой, так и думать о нем забыл!

Стеснялись лебяжницы Родиона Гавриловича Смирновского — он был мужик, это правда, так же, как и все, пахал, саял и за скотиной ходил, но он был еще и офицер. Настоящий офицер — не унтер и даже не фельдфебель, а поручик. Прошел офицерские курсы, а главное — большую службу. Можно сказать — не только «благородие», но и «высокоблагородие».

И поручик тоже не просто так, а настоящий. В Лебяжке человек десять — и Устинов в их числе — служили с ним в нынешнюю войну, знали его в службе не с чужих слов. удивительный был этот мужик-офицер!

Бывало, идет колонна в отступление — грязь по колено, на душе — то же самое, кухни неизвестно где, табаку нет, офицеры все злые, как собаки, и только взводный, а под конец войны уже и ротный командир Смирновский шагает этак легко, даже красиво, сам побрит начисто, шинель на нем — чистая, сапоги и те замараны только по щиколотку.

Между прочим, такие вот легкие солдатики, тем более — офицеры, в строю да на передовой долго не задерживаются — их начальство примечает, берет к себе денщиками, вестовыми или адъютантами, а то — в знаменосцы и в почетные караулы — печатать шаг на парадах, при встречах и проводах высших чинов, но Смирновский служил только в строю.

Службу с подчиненных спрашивал куда как строго, так ведь и сам служил без поблажек. Звонко как-то умел он служить, места полегче, псудобнее никогда не искал. Где его солдаты — там и он.

Вернее всего, это водилось у Смирновских — все они были служакки, и отцы, и деды.

Лебяжницы удивлялись: когда так, почему они не бросят крестьянствовать и не уйдут в кадры? В последние годы в офицерстве не только дворяне состояли, но и разных других сословий становилось все больше — а этих-то что в Лебяжке держит?

Но Смирновские, прихватив несколько сверхсрочных лет, в чине фельдфебеля и даже прапорщика неизменно возвращались домой, развешивали по стенам своей пятистенной избы кресты и медали и снова крестьянствовали как все.

«Нет, — говорили Смирновские, когда их спрашивали, почему это так, — нет, офицер из мужиков — все равно черная кость. Покуда ты хороший фельдфебель — то и офицеру-дворянину ты тоже хорош и он хвастается тобою перед своими дружками, представляет тебя к наградам и может выпить с тобой рюмочку; даже — не одну. Но когда ты с ним в равном звании — ты ему уже враг, и он подставляет тебе ножку, а руку яровит подать так, чтобы другие этого не видели, и места за столом в офицерском собрании ты никак не найдешь, везде «извиняюсь, занят!»

«А тогда зачем вам, Смирновским. военная служба? Служить — так это же забираться в чинах как можно повыше, а когда не пускают, зачем она вам? И послали бы ее куда подальше!»

«Таме нельзя! — отвечали Смирновские. — Наши деды и прадеды все служили и воевали!»

Родиону Гавриловичу было нынче чуть за сорок, но он успел отличиться в двух войнах — японской и германской, подняться выше всех своих предков — до поручика.

В начале войны солдаты-земляки своим командиром гордились, а вот в конце, когда пошли по фронту митинги: «Бросай оружие!» «Долой войну!» — посматривали на него косо: он-то не митинговал, а служил себе и служил, как будто ничего не случилось, не переменялось. Только один раз и выступил на митинге и сказал так: «Будет приказ уйти с фронта — уйду. Не будет — останусь в окопе хотя бы и совсем один. Никого к этому не принуждаю, но не принуждайте к другому чему-нибудь и меня!»





Его освистали, обзвали разными словами, а он и этого не заметил — ходил чистенький, подтянутый.

Настал Брестский мир.

Сибирский полк хотя и митингуя, хотя и в одной четверти нормального состава, а все-таки дольше других держался на позициях, но тут решил одним эшелоном пробиваться домой.

И вспомнили солдатики поручика — выбрали его председателем полкового комитета, а вернее сказать — начальником эшелона.

Смирновский дал свое согласие, но объявил так: «Решаемся! Эвакуация в Сибирь! Но не будем же и нынче восставшими рабами! Великие армии тоже отступали, отступим и мы, но сделаем это по самой жесткой дисциплине военного времени. Кто на это согласен — ночью грузимся в вагоны, двигаемся на восток, кто не согласен — того не веволю!»

В прифронтовой полосе останавливали эшелон разные начальники, иные норовили подтолкнуть его на юг, к Ростову, объясняли, что сибирякам нет другого пути, как в доблестную Добровольческую армию, — Смирновский козырял по форме, говорил многозначительно, что сибиряков ждут свои дела не на Дону и Кубани, а на Иртыше и Оби, быстренько разбирался в железнодорожных маршрутах, требовал паровоз и, чеканя шаг, шел к своему вагону. Когда поезд трогался — красиво так козырял еще раз и делал ручкой прощальный знак.

Останавливали эшелон красные, он выходил к ним, объяснял, что за полк, куда следует, и видно было — свой человек, не какая-нибудь контра.

На Урале останавливали эшелон чехи — они уже были там вроде хозяев.

И опять выходил щеголеватый офицер, хотя и без погон, зато глянешь и подполковника ему дашь, и опять объяснял, что сибиряки отлично знают, куда и зачем следуют, и приказывал распахнуть двери теплушек, а оттуда на стационные постройки, на ранне-весеннее небо и на чехов пасмурно поглядывали сибиряки при полной боевой выкладке, с пулеметами. Эшелон следовал дальше.

Прибыли на Озерки — крохотный полустаночек, но для лебяжинцев неизменно самый главный пункт железных дорог всего мира — здесь им было сходить и следовать далее лошадьми.

Эшелон вышел прощаться со Смирновским, качали его солдатики, говорили речи, клялись в вечной любви и даже на всех лебяжинских тоже пала тогда часть этой славы.

А приехали в Лебяжку, восемь фронтовиков — разошлись по избам и забыли о Смирновском думать — что он есть, что нету его. У каждого на ограде, и в избе, и на пашне свои дела-заботы, и не все ли равно для этих дел, кто и как тобою командовал на войне?

Тем более, что и сам-то Смирновский на людях показывался мало, что хоть и негромко, а все-таки пошли о нем прежние слова: «Офицер!» «Благородие!»

И вот, уже войдя во двор Смирновского, ступив на желтый, прихваченный морозцем, а кое-где и припорошенный снегом песочек, Устинов застеснялся вдруг идти дальше.

Он Смирновского «благородием» не обзывал, не припоминалось такого, а неловко стало, да и только! Забыл ведь он командира своего, забыл начисто! Ну, как бы вот Устинову идти в атаку, только без приказа: идти-то нужно, а приказа-то — нет! Вот если бы вышел на крылечко Смирновский и скомандовал: «Ко мне — шагом арш!»? Но — тихо было в ограде, и в этой тишине совсем неясно стало — о чем надо переговорить со Смирновским? Сразу спросить о Севке Куприянове и о его мерине — неловко, спросить, но не сразу, неловко будет менять разговор. «Лесная Комиссия виновата! — подумал Устинов. — Разговор поручила, а о чем — не сказала!» И тихонько-тихонько отступил до калитки, бесшумно открыл ее, закрыл за собою снова, а потом, как ни в чем не бывало, будто и не имея намерения к кому-то заходить, пошел по улице.

И составил себе другой план: тут же направиться в Комиссию, тем более, ему было известно, что вся она в сборе.

Он пришел в избу Гуськовых, в горницу, и резко, даже сердито сказал:

— Вот какое дело, товарищи Комиссия! Надо сей же час позвать к нам Смирновского и предложить ему начальствование над лесной охраной!

Бердников удивился, вздрогнул, внимательно осматривал Устинова.

— То есть — как? Вчера же решили насчет этого вот так, а сегодня? Уже совсем по-другому? А — почему? — Помолчал, и еще сказал: — Да он и не согласится никогда, Смирновский! Он с нами да и со всем лебяжинским обществом делов иметь не желает: офицер!

— Не согласится! — подтвердил Устинов. — Однако нам-то надобно не только его согласие, но и отказ. Иначе каждый лебяжинский житель нас упрекнет — почему такому человеку вы, Комиссия, не предложили руководить вооруженной охраной?





— А ежели он согласится? — спросил Бердников. — Чем черт не шутит?

— Ну, а тогда в лесу будет полный порядок. И ни наши собственные, ни степные порубщики в дачу носу не сунут! И — ого-го! — как нам это в заслугу будет поставлено, какой получится у Комиссии всенародный авторитет!

— Слова-то ты какие, Устинов, к этому случаю вспомнил! — Покачал головой Бердников. — Но только он, я уверен, не согласится!

— А еще, — сказал Устинов, — когда будет с его стороны отказ — вот тогда я и смогу исполнить поручение, то есть поговорить с ним, чтобы он никак и нисколько не мешал бы нашей Комиссии. Раньше — мне и говорить-то с ним, так предмета нету!

От таких соображений Бердникову уйти было нельзя, и Устинов об этом знал, и Комиссия знала, а тут Устинов и еще сказал: — А што Смирновский в случае согласия начнет вмешиваться во все другие дела Комиссии, так и думать нечего! Не начнет! Он будет исполнять свою службу, а больше ничего!

Бердников постучал пальцем по столу и, глядя в какую-то бумагу, проговорил:

— Игнатий! Сбегай-ка за Смирновским!

— Да не пойдет ведь он, товарищ Бердников! Сроду нет! — отозвался Игнашка.

— Игнатий! Сбегай-ка за Смирновским! — повторил Бердников.

Игнашка схватил шапку и выскочил в дверь, Бердников молча углубился в бумаги, все еще постукивая пальцем по столу, а Калашников, сперва тоже помолчав и пошевелив рукой косматый волос на голове, начал объяснять устав какого-то кооперативного товарищества. Он объяснял его долго и подробно, и получалось — прими этот устав, и больше никаких других забот тебе в жизни не будет, однако он же первый и кинул в окно:

— Идут!

Действительно, по улице быстро и четко шагал Смирновский, а вприбежку, то впереди, то позади него — Игнашка. Еще минута, распахнулась дверь в горницу, влетел Игнашка:

— Вот! А вы ишшо говорили! Вот! Да—я...

— Чем могу служить? — козырнул Смирновский.

Он был невысок, но строен, в сером, не то военного, не то городского покроя, пальтеце, в зеленой фуражке без кокарды. Голос чуть глухой, суженные калмыковатые глаза — строги.

Бердников поглядел на Калашникова, Калашников сказал:

— Садись, Смирновский! Поговорить позвали тебя!

Смирновский снял фуражку, растегнул две верхние пуговицы своего пальтеца и сел. Все ждали его вопроса, чтобы он спросил, о чем с ним хотят говорить, а он сидел молча, неподвижно и только переводил калмыковатый взгляд с одного на другого — с Калашникова на Половинкина, с Половинкина — на Устинова и так по кругу.

— Вот что, Родион Гаврилович, — сказал, наконец, Калашников, — просьба есть к тебе. От Лесной Комиссии, а разобраться — от всего лебяжинского общества... — И опять Смирновский молчал, только кивнул один раз, и Калашников, передохнув, продолжал снова: — Просьба такая: взять на себя начальство над Лесной вооруженной охраной... Мы стараемся, а лес все равно рубят и даже не для себя уже, а на продажу в степные деревни. Если ты постарайся — ничего этого не будет, мы уверены.

Смирновский подождал — не продолжит ли Калашников и еще, потом сказал:

— Принять просьбу не могу! — Коротко, но резко махнул рукой: — Нет!

— Почему? Почему же, товарищ Смирновский? — с интересом спросил Бердников.

— Боюсь я нынче всякого оружия!

— Воишься?! — удивился Бердников.

— Боюсь! — подтвердил Смирновский.


— Воишься? Ты, Родион Гаврилович, и — боишься? — спросил и Устинов тоже.

— Боюсь! — снова кивнул Смирновский.

— Да как же так, Родион Гаврилович? — раскинул руки Устинов. — Ты ли здесь нынче, перед нами? Не верится, будто — ты?

— Это я, Устинов... А боюсь я вот почему: кругом война — невероятная, гражданская, междоусобная. И каждый выстрел нынче — как в пороховую бочку огонь! Нынче даже и без выстрелов ссориться людям нельзя. Сегодня поссорились, поругались через прясло, а на завтра через то же прясло будем стрелять друг в друга!





— Ага! Я тебя понял, Смирновский! — усмехнулся Бердников. — Ты думаешь — если не будет охраны леса, Лесной Комиссии и вообще ничего не будет для соблюдения порядка — то война нас обойдет! И все останется, как было!

— Нет! — Так же коротко махнул Смирновский рукой, словно сбрасывая что-то с колена. — Нет, война нас не обойдет. Но и каждый день без выстрела нам нужно беречь. Сегодня ваша охрана задержала в лесу порубщика, а завтра — война, и он эту обиду припомнит.

— Я тебя понял! — снова кивнул Бердников. — Сегодня мы задержали Куприянова с сыном, а завтра они нам... Они ведь твои родственники, Куприяновы-то!

— Ну, Куприянов, может, и сдержится, и не даст волю обиде, я вот его уговорю — не давать себе этой воли. Ну, а всех-то — не уговоришь? Вы вот сами-то, Комиссия, сдержитесь? Нынче вы спорите, разногласия у вас словесные, а — завтра? Может, они будут с оружием в руках, эти разногласия?

— Ну, ты тоже, скажешь, Родион! — покачал головой Калашников и сам тоже качнулся на табуретке туда-сюда. — Ну и скажешь!

— Напрасно ты, Родион Гаврилович! — согласился с Калашниковым Устинов. — Такого и в голову не должно приходиться!

— И действительно, не приходит! — подтвердил Смирновский, — В семнадцатом году начался переворот — ради чего? Ради справедливости. И тоже никому ведь в голову не приходило, что после Россия не год и не два будет пылать в братоубийственной и самой несправедливой войне!

— Я тебя снова понял, Смирновский: ты всегда стоял за войну до победного конца! — проговорил Бердников. — А вот спросить, ну, зачем народу этот победный конец? Ты — знаешь?

— Зачем? Это ясно! Затем, чтобы мы, русские, не воевали бы между собой, не уходили бы с фронта целыми полками в тыл, для междоусобий на собственных нивах. Чтобы и немцы потеряли меньше людей и своих земель, чем они потеряли, когда на целый год отодвинулось их поражение. Затем, чтобы союзники наши тоже понесли меньше потерь. Мы от них отступились, но в расчете, что они за нас победят и без нас! Потому что, если бы победила Германия — уж она-то от нашей справедливости не оставила бы ничего! Ни белых, ни тем более красных! Затем, чтобы не распадалась Россия, чтобы кубанское и донское казачество не отделялось от нее, не дарило кайзеру Вильгельму, своему вчерашнему врагу, белого коня и не заключало с ним сделку для войны со своим же русским народом! Затем, чтобы ни чехи, ни японцы, никто посторонний не оккупировал Россию и не имел возможности с оружием в руках решать наши внутренние дела, проливать потоки нашей крови... Так я могу идти? — И Смирновский встал, надел фуражку.

— Как хочешь! — ответил Бердников. — Когда тебе нельзя провести здесь еще минуту — как хочешь!

— Минуту — можно.

— Ну, вот и ладно! — обрадовался Устинов. — А ты вот что забыл, Родион Гаврилович; у человека есть предел. И когда он к нему подошел, он уже не может делать, как еще вчера делал. Так было и с войной — когда солдату совсем непонятно стало, зачем она, ему не стало возможности воевать и дальше. Солдат лучше примет другую, хотя бы и более тяжелую, но понятную для него войну!

— Нету у человека предела, Устинов, — не согласился Смирновский. — Нету его, Коля... Разве что — предел понимания и мысли, тут он в стенку упирается, да. А делать, хотя бы и доброе дело, хотя бы и пагубное — он может без конца!

Бердников откинулся на спинку стула, посмотрел на Смирновского внимательно. Сказал:

— Спасибо за продолжение нашей беседы, поручик! Это бывает: мужицкий сын в буржуазности своей переплывает самого буржуя! И вот я хочу спросить: значит, мы, трудящиеся, не так сделали, не спросив у буржуя-империалиста, когда нам лучше выступить против него? Надо было спросить, он бы объяснил: вот победи сперва немца, а тогда — видно будет! А он-то, империалист, спрашивал у нас о чем-то, когда бросал нас в нынешнюю бойню всех времен и народов? Так кто же первый виноват в этой всеобщей несправедливости? Кто — ответчик? И ведь кто-то должен с ответчиками кончать? И сделать это — никогда не рано, а всегда — поздно!

— А зачем капиталиста спрашивать? Не надо! Не у него, а у себя надо спросить — как поступать! И скажи, Бердников, ты на войне в окопе или в атаке видел когда-нибудь империалиста?



— Такого — никто никогда не видывал! Разве для показа чей-нибудь сынок затешется в окоп, чтобы об нем в газетках сообщалось. Импералист всегда дома, либо в банке в денежном за железными дверями!

— Вот именно, Бердников! Правильно сказал, Бердников! И когда трудящиеся поднимаются против капиталиста, он все там же будет сидеть, а пошлет в свою защиту опять же трудящихся. Значит, война против империалиста всегда будет войной трудящихся между собой. И когда ты к ней, к такой войне призываешь, то нельзя этого забывать! И — не бояться этого — нельзя. Я — боюсь! Я, может, ничего больше не боюсь, но здесь — я последний трус. И даже, хочу им быть, — самым последним и трусливым! Устинов! — позвал вдруг Смирновский, строго так позвал, словно командующий на занятиях по словесности или по военным уставам. — Устинов! Ты вот можешь против меня воевать? Убивать меня?! Еще хуже — сначала воевать, а потом — жить со мной соседом? Сначала воевать, после детей вместе воспитывать, в одной школе их учить, чтобы они за одной партией сидели и молча, а то и вслух о войне отцов думали, вспоминали бы, как один другого убивал? Ну? Устинов?

Устинов вздохнул глубоко, но не ответил. Одуматься надо было, но Смирновский времени не дал, позвал снова:

— А ты — Бердников?

— Я не только с тобой, гражданин Смирновский, я с любым и каждым, кто пойдет против трудящегося, готовый в любой момент воевать! Хотя бы опять же с трудящимся, ежели он встал на чужую и неправую сторону. В войне ты сам знаешь как: там только стороны и есть, а людей нету, одна только живая сила! И кто и как на какую сторону угодил — разговора нет. Ты вот хорошие слова произнес, что и как значит, что значит Брестский мир, что значит междоусобная война, какая она плохая и неблагородная. Но жизнь, она не из слов складывается, а из действия. А действия — оне опять же от сторон исходят, то есть от классов. И я вопрос повторяю: почему меня буржуй довел до того, что мне всякие, хотя бы и самые красивые слова уже нипочем, а есть только один выход — воевать с ним? Я, что ли, ему войну объявил?! Нет, он мне ее объявил. Это он крестьянину в России земельную петлю на шею накиннул, он ему «Караул, погибаю!» и то не давал крикнуть, кто крикнет — того к нам сюда, в ссылку, в Сибирь! А не справедливее ли было одного помещика в Сибирь сослать, наделить в Сибири земель, а сто или тысячу крестьянских семей на его земле в России оставить? И ты не очень-то благородничай, поручик, и снова и снова не делай вида, будто я и есть первый затейник междоусобицы и народного кровопролития! Когда в девятьсот пятом году народ пошел с молитвой к батюшке-царю, батюшке стоило в окошко ручкой махнуть, и такие же вот благородные поручики, как ты, скомандовали: «Пли!». Так ежели бы это — один раз, а то ведь армия-то только и делала, что подавляла! Что же мне-то, подавляемому, оставалось? И почему нынче ты возмущаешься, что армия воюет между собой, проливает народную кровь? Ты вспомни-ка получше — когда это началось?

— Давно началось. И давно — это самое ужасное дело было, есть, и, не дай бог, будет, сделается нашим будущим. Если бы армия делала собственное дело, то есть несла честь, славу и силу своей нации в другие нации — я бы и сейчас был с ней. Ну, а нынче меня там нет. И не может быть!

— Ну, конечно: завоевать победу для своего буржуа в другой стране — это честь. Ну, а быть при этом его рабом — тоже честь? А бороться против своего рабства — так это бесчестье? Все у тебя шиворот-навыворот, поручик. Ты ведь за то, чтобы как один мужик двух генералов кормил, так пусть во веки веков и кормит — вот за что! Потому что они — генералы, а он — мужик! А чтобы этого не было, русский мужик с немецким мужиком нынче братается, а своего генерала — бьет.

— Побратались: немцы в Ростове уже!

— Значит, не смогли со своими помещиками и генералами управиться. Мы со своими управимся — им тоже с этим делом поможем! Ну, и вот что, поручик Смирновский, — спасибо за разговор! Дело теперь ясное, и ты правильно делаешь, что отказываешься от нашего сотрудничества!

— Верно-што! — протяжно вздохнул Половинкин, который за всю беседу не вымолвил ни слова. — Начали об лесной охране, а кончили неизвестно чем — хотя бы и миром в Бресте, и тысяча девятьсот пятым годом! Ежели мы свои дела начнем вот так же обговаривать по разным годам — толку не будет.

Игнашка тоже сказал:

— Верно что — заблудился ты, Родион Гаврилович! Заблудился в словах-то, и жаль мне тебя! Оч-чень жаль!

Смирновский резко встал, простоял секунду-две неподвижно, потом козырнул кому-то, неизвестно кому, а попрощался с Устиновым:

— До свидания, Коля! Службу-то нашу — помнишь?

— Помню, Родион Гаврилович!



— Ну, ну! Будь здоров, заходи, будет случай! — И Смирновский вышел быстро, чуть не бегом, но все тем же четким шагом.

Помолчав, Бердников тоже обратился к Устинову:

— Молодец, товарищ Устинов, правильно предложил вызвать поручика. Вызвали, все выяснили, а теперь тебе и ходить к нему нету необходимости.

— У меня дело к ему все одно есть.

— Есть?! — удивился Бердников. И тут же спросил у Калашникова: А скажи, Петро, председатель, кто нынче был прав — я либо Смирновский? — Ты, Бердников... — кивнул Калашников. — Вот ежели бы ты еще задел о пути трудящихся к справедливости, то есть — кооперативный путь...

— Ладно! — перебил его Бердников. — Ну, а для тебя, Устинов — кто был правый в нашем разговоре? Скажи?

— Сказать, так мне твое утверждение все ж таки ближе...

— Ближе! Ну, а тогда о чем же тебе и еще вести со Смирновским разговор? Какое может быть у тебя с ним дело?

— У меня к ему собственное дело...

— А-а-а! Собственное! — кивнул Бердников. — Ну, ну...

Вот он какой был, товарищ Бердников — небольшой, быстрый, смысленный. Давно вернулся с фронта, оюпных митингов семнадцатого года не слышал и не видел, погоны с офицеров не срывал, ни эсеров, ни большевиков в полковые и другие комитеты не выбирал, а начини ему обо всем этом рассказывать, он тебя же еще и поправит: «Нет, не так было, а вот как!» И с толком ведь поправит! Или вот — он сибиряк, от безземелья особенно не страдал, а начнет говорить, как страдает от этого мужик в России — и опять все правильно, в подробностях.

Лебяжинские удивлялись: откуда что у человека? Конечно, большое просвещение получил он от Василия Михайловича Кузьменкова.

С Кузьменковым, рабочим из Твери, Бердников служил вместе при полевом телефоне с начала войны, в одно время они были и демобилизованы — Бердников по контузии, Кузьменков — по болезни.

В прошлом году, весной, Кузьменков приехал к своему дружку — попить молока, поесть досыта, поправить здоровье, но поправляться, оказалось, ему было уже поздно, он послесарничал в Лебяжке, помастерил по швейным машинам и по сепараторам для баб, по косилкам и сноповязалкам для мужиков и вскоре помер. Сам помер, а мысли свои и множество разных книжечек оставил Бердникову.

Но в то время, как Кузьменков то ли от болезни, то ли от природы был тихим, не очень-то разговорчивым и каждому встречному-поперечному, будто чего-то стесняясь, улыбался, Бердников надо, и даже когда не надо, говорил быстро, громко, всегда был серьезным и мог проводить за книжками, а нынче вот за бумагами и делами Лесной Комиссии хоть двое суток подряд. Такой был человек — не от одного только Кузьменкова умел взять, а от кого-то и от чего-то еще и еще.

И теперь, откинувшись на спинку стула и движениями, похожими на те артикулы, которыми унтера мучают солдат на учебных плацах, поразмяв руки, он тоже строго спросил:

— Ну, а ты, Половинкин? И ты, Игнатий? Вы-то — как все ж таки?

— Чо тако? — отозвался Половинкин.

А Игнашка же подскочил на стуле и ответил:

— Я? А я ничево себе! Я — просто так!

— Чего—ничего? Я спрашиваю: вы-то что и как думаете об моем разговоре со Смирновским?

Игнашка снова подскочил:

— А кого тут думать-то? Он, Смирновский-то — как? Он из грязи в князи, и даже — не в сильные князи-то, а ужо гордости в ем, гордости — он и сам не знает сколь ее и для чего!

— А из какой же это он грязи выскочил? Объясни, Игнатий!

— Да из обыкновенной — из мужиков толстопятых чалдонов!

— По-твоему, значит, трудящийся мужик — это грязь?! Так, Игнатий?

— Я энтovo вовсе не сказывал, товарищ Бердников!

— А что же ты тогда сказывал? Ты вот запомни, Игнатий, грязь — это вовсе не трудящийся мужик или рабочий, а те самые князья, в которые по глупости человеческой многие желают выскочить! Запомнил?

— Ну, все ж таки... В князьях-то бы походить тоже... А в опчем-то я запомнил, товарищ Бердников!

Половинкин же еще подумал, послушал и сказал:

— Он-то, Смирновский-то, никак не желает быть, как все! Ему это — нож вострый и даже — смерть!



— А вот это — так! Вот это — правильно! Когда человек откалывается от массы, от большинства — в нем уже правды нет и не может быть! Одна только спесь и разная хитроумная ложь. Настолько хитроумная, что ее не так-то просто и разоблачить!

— Ну, а ежели взять святых? — спросил Устинов. — Оне и всегда-то были одни и только сами по себе, но призывали к своему разумению большинство народа. В них — тоже нет правды?

— Одно вранье! — подтвердил Бердников. — Да и что такое правда, товарищ Устинов? Один ее понимает так, другой — вовсе и начисто по-своему, а где и в чем она в действительности? Она есть лишь в том, что хорошо и справедливо для народа, то есть для большинства человеческого. Нонче народ требует взять в свои руки землю, фабрики и власть — это и есть святая и высшая правда, другой нету! Пройдет время — у массы будет другое требование к жизни — и обратно это будет правдой. И так — всегда. Запомнил, Устинов?

— Ну, а вот было — народ сжигал отдельных людей на кострах, когда те не верили в бога. За кем была правда — за большинством или за теми отдельными и сожженными людьми? Или тоже было — наши с тобой предки-раскольники занимались самосожжением — оне тоже были правы и по правде делали?

— А тут надо различать — где народ сам делает, а где его толкает на преступление черная сила!

— Какая — черная?

— Разная: монахи, колдуны, капиталисты. И те самые отдельные личности, о которых ты только что упоминал.

— А кто различит? Вот ты, Бердников, различишь, где народ делает по-своему, а где — по наущению?

— Почему бы и нет?

— А когда ты можешь это, а все другие — нет, тогда ты ведь уже отдельно ото всех? Как тот святой?

— Никогда! Никогда не стою я в отдельности от народа, а нахожусь в самой его душе и глубине, потому я и чувствую и чую, что исходит от него самого и что ему навязывают другие из черных замыслов! Сам же я при этом со своей личностью — ноль! Пешка!

— Ну как это — ноль?! Даже странно! Вот в Лесной нашей Комиссии ты нонче уже кем работаешь? Полям работаешь? Либо — главным рабочим членом, начальником охраны и даже — нашим, как бы, руководителем? И ежели ты, во многом наш руководитель, ноль, тогда кто же мы?

— Ты меня не вовсе понял, Устинов, — побарабанив пальцем по столу, сказал Бердников. — Я, если и руководствую, и даже если сам хочу руководствовать, не отказываюсь от этого, так потому только, что понимаю себя перед народом, как ноля! То есть более, чем всякий другой, я должен быть слуга ему и только — слуга! Во мне это рядом и вместе слившись должно находиться — слуга и руководственность. Может, тебе это и не очень понятно, Устинов?

— Конечно, не очень! Вот в ту ночь, как нагрянули на нас степные порубщики и ты почти уже и отдал приказ стрелять в их, — ты кто был тогда — слуга и ноль? Или — ты в тот миг руководствовал? Оне ведь, степняки, тоже народ и заметно победнее нас, лебяжинцев! И лес им несомненно больше, чем нам, нужен. Наши собственные лебяжинские порубщики уже до чего дошли: рубят на продажу. «Скоро, — говорят, — так и так случится война между собою и степняки так и так будут рубить наш лес! Так и так интереснее нынче лесину человеку продать, чем ему же завтра отдать десять лесин даром!» А тому человеку уже седни, не дожидаясь войны, надо потолок в хате лесиной подпереть, и он едет в Лебяжинскую дачу, а там его ждет с охраной простой лебяжинский мужик, который его встречает огнем. Так же машет ручкой, подает сигнал пальцем, как царь Николай из дворцового окошка махал при расстреле девятьсот пятидесяти года?!

Бердников задумался, в задумчивости сказал:

— Не прошла для тебя даром, Устинов, только что закончившаяся наша встреча с поручиком. Не прошла! — Потом он оживился, встал из-за стола, отошел три шага в сторону, повернулся и показал на пустой стул. — А ты, Устинов, садись на мое место! Вот оно... Вот оне — бумаги. Вот тебе — список охраны на краешке стола лежит, свесился. Принимай дела, я тотчас введу тебя в курс, а ты — принимай и делай по-своему: умно, со всеми благородно, и со своими лебяжинскими, и со степняками, и с самогонщиками, и с Гришкой Сухих! Со всеми, как есть!

Среди всех членов Комиссии произошло замешательство, Калашников остановил Бердникова: «Погодь, погодь, Василий, не торопись!», а Устинов совсем смешался и сказал:

— Да я разве — о том? Я вовсе не о том!



Это припомнить, в пятнадцатом году полк, в котором служил Устинов, стоял на переформировании в Гродненской губернии, в небольшом городке, а там, в тенистом садочке, поставлена была русалка.

Будто бы и небольшая девка, стояла и глядела в воду, но чутунная, прикинуть, пудов на семьдесят весом.

Чтобы она опрокинулась головой вниз, в круглый бассейн, из-под нее надо было вышибить кирпичей десятка два — голыми руками не сделаешь.

И солдаты тайком выносили из казармы железный ломик, ухитрялись, и, едва получив увольнительные, первым делом сбрасывали русалку в воду: куда она глядит, туда ей и дорога!

Городские власти стали свою русалку закреплять на фундаменте длинными железными штырями, не помогло — солдатики те штыри вырывали артелью и все равно сбрасывали русалочку, поковыряв ей ломиком глаза, уши, носик и другие места.

Сколько солдат получили из-за нее, зловерной, нарядов и арестов, сколько городской голова ссорился с командиром полка — не перечсть, но солдатики делали свое.

Городового поставили на пост рядом с русалкой, — солдатики не стали жадничать, сбрасывали в шапку по пятачку, городовому на полбутылки, он отлучится на четверть часа, а им больше и не надо, они успеют, у них навык был, уже весь полк прировнялся к делу.

Кончилось — командир полка поставил перед русалкой часового. Свои стали охранять ее покой от своих же, а за нарушение караульной службы несли наказание по уставу военного времени.

Отступились от русалки солдатики.

Но и смеялись же они над полковым командиром: это надо додуматься — сколо чугунной и голой бабы поставить часового при выправке с примкнутым щтыком, а карначу днем, в полночь и на рассвете сменять по всей форме часовых, объявлять пароль и проверять оружие! Не смешно ли?

Ну, тогда Устинов поглядывал на русалку со стороны, никакого участия в ее судьбе не принимал. И только раз или два бросал в шапку пятачки для городского. Чтобы товарищи не сказали, будто он жадный и некомпанейский. Чтобы быть, как все были.

Но вот в семнадцатом году, снова на отдыхе, снова в прифронтовом городе, пятачками отделаться было уже нельзя.

По причине никуда не годного котлового довольствия солдаты разбили магазины — сначала бакалейные, потом — все остальные. Продовольствия в них оказалось — кот заплакал, зато осколков солдатики набили множество, и стеклянных, и деревянных, и кирпичных — все было усеяно ими. Молча и тихо взять что надо и унести — вроде воровства получается, так это вор тихо делает, а вот громко, со стеклянным и разным другим боем — тут для солдата как бы и геройство выходит, на это он чем-то нутряным отзывается, какой-то своей кишкой или печенкой.

Устинов и тут был в стороне, ходил по городу, с интересом посматривал, что и как происходит, но не более того.

И стали на него товарищи косо посматривать, а один раз, за перекур, он услышал, как о нем говорилось: Устинов этот, мол, чей-нибудь шпион, а если и не шпион, тогда все равно — контра!

Как раз очень был бурный и отчаянный день: митинг был, на котором голосовали «Войну до победного конца!» и «Долой войну!», а юнкера затеяли перестрелку, хотели не то захватить, не то взорвать железнодорожный мост, а вся городская буржуазия бросилась в эвакуацию, с боем захватывая вагоны и теллушки.

Солдаты грозили им кулаками, кому — так и оружием, вспоминали буржуям какие-то их речи, какие-то деньги, какие-то пожары, а Устинов смотрел-смотрел на это, а потом вынул из кармана револьвер, он тогда при револьвере почему-то ходил, и — бац! — выпалил в серую пристяжную, которая неловко так тащила пролетку.

В пролетке же ехали очень толстый господин, тонюсенькая, перехваченная почти на нет в поясе, госпожа, двое или трое детишек и множество узелков разных, саквояжей и баульчиков.

Кучер бросил поводья и — бежать, госпожа закричала, господин закрыл котелком лицо, а что было с пристяжной, Устинов даже и не видел — повернулся и пошел в казарму.

И кончились разговоры среди солдат, будто Устинов — не свой, а чужой, и даже — контра какая-то. Он опять стал таким же, каким все вокруг него были, а товарищи стали его любить так же, как раньше любили. Разве только во



взгляде поручика Смирновского, встречаясь с ним, замечал Устинов какую-то холодность, какую-то дальность.

Но все равно жизнь пошла для него своим чередом, хотя и солдатская, уgomонная, митинговая, но пошла.

Теперь Устинову тоже нужен был жизненный черед, не тот, которого он желал и достиг тогда, но все равно — нужен был, и он понимал, что смирновскую избу вторично обойти ему не удастся, тянуло его сюда, и он беспокоился только об одном — чтобы при встрече с Родионом Гавриловичем все-таки выпал удобный случай переговорить и насчет Севки Куприянова серого мерина.

Двор, присыпанный песочком, и гимнастические снаряды его уже не оставили, он прошел в сенцы, а там покашлял и пошарил рукой по двери.

— Это — кто же? — послышался голос, дверь раскрылась, и на пороге появился Родион Гаврилович — через белую рубаху протянуты фабричные подтяжки, армейские брюки-полугалифе, сам босой. — А-а, это ты, Коля!

В избе было тихо и чисто, в окне — клетка, из клетки, с жердочек тотчас пристотрелось к Устинову два щегла — кто такой? Зачем?

Устинов поздоровался, спросил:

— Тихо-то как? А — сыны где же? А — жена?

— Сыны — рыбалят на озере. Со льда хотят поглушить, пока лед еще тонкий. Ну и поехали и мать с собою захватили, в гости по пути завести.

Об этом Устинов знал — видел, как трое Смирновских проехали улицей, и тогда же подумал: «Самое время навестить Родиона Гавриловича!», а теперь он только хотел убедиться в том, что сообразил правильно.

— Проходи, Коля, в горницу!

Устинов повесил шапку и полущубок на гвоздь, прошел. Смирновский же остался на кухне, быстро натянул на себя черные лимы-барнаулки, а из-под шестка достал старый сапог и стал, как мехом, раздувать им самовар.

— Да я не хочу чая-то! — подал голос Устинов.

— Захочешь! Чаем угощу правдишным!

— Разжился?

— Домой-то мы приехали с эшелоном, я открыл сундучок — что такое? — и чай в печатках, и сигаретки, и даже брошка женская! Вот так и разжился!

— Ребята подложили! — догадался Устинов. — Подложили с уважением к начальнику эшелона. Любили его солдатики!

— Всякое было. Сам припомни, Коля, разве — не всякое?

— Ну и што? А с подарками-то оне все ж таки справедливо сделали. Я знаю — справедливо!

— А я — не знаю, нет! Какая уж тут справедливость, когда не знаешь — кто тебе друг, а кто — враг? Ежели это едва ли не каждый день нужно выяснять? — Смирновский бросил в самовар угольков и снова стал раздувать его сапогом, а Устинов пристотрелся к типографской картине в простенке между окнами горницы — большая баталня, пушки в облаках дыма, в одном облаке, с поднятой кверху саблей — Петр Великий, внизу крупно, славянской вязью напечатано:

«ВЕДАЛО ВО РОССИЙСКОЕ ВОИНСТВО, ЧТО ОНОИ ЧАС ПРИШЕЛ, КОТОРЫИ ВСЕГО ОТЕЧЕСТВА СОСТОЯНИЕ ПОЛОЖИЛ НА РУКАХ ИХ: ИЛИ ПРОПАСТЬ ВЕСМА, ИЛИ В ЛУЧШИИ ВИД ОТРОДИТЬСЯ РОССИИ. И НЕ ПОМЫШЛЯЛИ БЫ ВООРУЖЕННЫХ И ПОСТАВЛЕННЫХ СЕБЯ БЫТИ ЗА ПЕТРА, НО ЗА ГОСУДАРСТВО, ПЕТРУ ВРУЧЕННОЕ, ЗА РОД СВОИ, ЗА НАРОД ВСЕРОССИЙСКИИ, КОТОРЫИ ДОСЕЛЕ ИХ ЖЕ ОРУЖИЕМ СТОЯЛ, А НЫНЕ КРАЙНЕГО ОТ НИХ ФОРТУНЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОЖИДАЕТ.

ПРИКАЗ ПЕТРА ВЕЛИКОГО ПО ВОИСКАМ В НОЧЬ ПЕРЕД ПОЛТАВСКОЙ БИТВОЮ С 26 НА 27 АВГУСТА 1709 ГОДУ».

Устинов прочитал все это не торопясь, обдумывая те слова, которые не сразу были ему понятны, а когда кончил читать, Смирновский внес самовар, поставил его на стол и сказал:

— А я, Коля, знаешь ли, что про Великого Петра больше всего люблю читать? Я люблю не то, как о нем написано, а как сам он писал и говорил! Слова у него удивительные: «Сыскать викторию!», «спастись трудилась», «побежал великим скоком», или вот «оголоженная дорога» — это значит дорога голодная, без продовольствия и фуража. Жалею — не удержались они в нашей памяти на повседневное пользование! Особенно в армии были бы слова эти полезны и необходимы. Ну, да ведь мы — как? Мы, русские, что имеем — не храним, чего не имеем — тем хвастаемся! И когда переделаемся — неизвестно, может, и никогда! Нет, ты прочитай-ка, Коля, еще раз: «в лучший вид отродиться России!» Как пушки и корабли — так же и слова свои ладил тот царь! Видно человека через слово его, видно же! А водочки, Коля, не хочешь?



— Не поманивает, Родион Гаврилович.

— Рюмочку? Одну?

— Нет, не поманивает...

— А-а-а... Ну, ладно.

Поговорили о погоде, об урожае, о великом беспорядке везде и всюду вокруг. О том, что происходит в Сибири и во всей России. Смирновский очень сердито говорил о белочехах: на войне их что-то не слышно было, они сдавались к нам в плен и формировались в тылу для военных действий против немцев, но немцев так и не тронули, зато нынче ввязались в гражданскую войну, решили навести в России порядок. И жестоки были — грабили, пороли, вешали, расстреливали всех, кто под руку попадет. Главное же — не для России стараются, а для себя и для тех, кто им побольше даст или — хотя бы побольше пообещает. И решающая это может быть сила в гражданской войне — за нею ползут еще и еще интервенты, множество языков.

Устинов стоял на том, что как только чехи и собственные белые дойдут до центральных русских губерний, так и останутся: там мужики поделали между собой помещичью землю и теперь будут стоять насмерть, назад помещиков ни за что не пустят.

— Ну, а Сибирь? — спрашивал Родион Гаврилович. — Даже если и так, что, по-твоему, будет с Сибирью, Устинов? На Дальнем Востоке и в Забайкалье, едва ли не до самой Читы — японцы, в Омске — английский батальон, да и не знаем мы с тобой, где кто и что, Устинов, — нету газет. Как же будет Сибирь? Может, ее отделият от России?

— Не знаю... Но не может такого быть, Родион Гаврилович! — отвечал Устинов. — Это — невозможно!

Они помолчали, Устинов подумал, может, сейчас уже и время выяснить кое-что насчет Севки Куприянова мерина? Опоздаешь начать, после — поздно будет, совсем уже не тот пойдет разговор, но тут Смирновский налил себе и гостю чай и спросил:

— Ну, а ты — что нынче ищешь, Коля?

Устинов вздохнул:

— В чем?

— В жизни.

— В ей-то? Не очень-то я и знаю, Родион Гаврилович. Ищу, ищу, а что — не очень складывается у меня в голове. Между прочим, и к тебе-то пришел узнать — как ты? Нашел чего, или — нет, не повезло?

— Я? У меня-то до недавнего времени хорошо было, Коля. Хорошо так, складно: я чести искал. Неизменно.

— Какой?

— Своей. Какой же еще?

— Да много ее нынче разной: честь армии, честь отечества, честь революции — всей-то и не упомнишь!

— Ничего этого нет без своей собственной чести. Только она все остальное на свои места расставляет: вот это — на хорошее место, это — на плохое, а третье — на самое высшее. И жизнь становится отчетливой.

— Ну, а вот вы, Смирновские, хотя и не казаки, а крестьяне, но все равно всегда шли в военную службу — зачем? За своею честью?

— Я, Коля, на войне тебя видел — ты храбрый человек, а все равно тебе это объяснять приходится. А вот нам, Смирновским, таких объяснений уже не надо. У нас это в роду: природный талант на храбрость. Что значит? Значит, Коля, мы смерти не боимся. Не боимся и все тут! Ведь как с людьми происходит: с самого детства человек носится со своей смертью, словно с писаной торбой: всем о ней рассказывает, открывается перед другими, что и он — тоже смертный, нянчится с нею, без конца предвидит ее, на коленях перед нею ползает, и, смотришь, уже живет-то ради нее и ее рабом... Человека, Коля, над всей другой жизнью поднимает сознание его смертности. Сознание, что он не вечен, а пока жив — должен что-то сделать, должен быть человеком. Животное потому и животное, что у него этого сознания нету, потому его жизнь и есть скотство, или свинство, или птичья беззаботность. Ты представь себе, Коля, что твоя лошадь или корова знает, что лет через десять она обязательно умрет — разве они работали бы на тебя, как теперь работают? Нет, они бы захотели прожить свою жизнь уже не так! И бояться смерти, раболепствовать перед нею, предавать ближнего из боязни к ней — тоже нельзя, тоже грех, и даже — нету смысла. раз она все равно неизбежна! Вот как устроено с этим делом в природе, Коля. И великие люди это устроившее понимали, хотя бы и тот же Великий Петр Алексеевич, и Лев Николаевич Толстой, а невеликие и темные — не понимали никогда, и даже — никогда не поймут! А вот ежели я — солдат и мужик — вровень с большими людьми это понял и узнал — это моя



заслуга и честь, я ею дорожу, меня уже нельзя сделать послушным рабом, а господ надо мной — разве что один только господь бог! И еще мне представляется: ежели нету храбрых людей, то есть таких, у которых правильное и верное сознание смерти, ежели их нет в крестьянском, в рабочем, в купеческом, ученом, дворянском и в любом сословии — тогда уже и нации тоже нету, и народа! и государства истинного не может быть! Ведь каждое сословие несет свое испытание, а где испытание — там нельзя без смелости и храбрости!

Они и еще попили чайку, молча, каждый сам по себе, потом Устинов спросил:

— Ты, Родион Гаврилович, это как: обращаешь меня в свою веру?

— Не очень ты меня понял, Коля: храбрость — такая вера, в которую обращать никого нельзя — бесполезно. Она приходит сама и к тому, кто ей подвержен... Ну, а ты, Коля, испугался, что это — обращение?

— Нет. Не испугался. Пошто же! У каждого ведь человека своя собственная и неизменная есть молитва! Тут, на днях, является ко мне на пашню Гришка Сухих и тоже со своей молитвой и тоже проповедует ее мне и даже грозится: не примешь ее — я тебя убью! Ну, я ему не поверил, будто убьет; сам же сказал мне Гришка, он пришел ко мне потому как раз, что знает — я смерти не боюсь. Почему так. Родион Гаврилович, почему человек со своей собственной молитвой сам обходиться не может, обязательно другим ее навязывает? И не отцу своему ее навязывает, и не сыну — они-то ее не примут, он верно знает, а посторонним людям? Вот ты мне нынче высказал слова — интересно мне было. Так вот — ты первый их говоришь, этакие слова, или оне годные на многие годы вам, Смирновским, и тебя отец им научил, а твоего отца — его отец?

— Нет, Коля, отец меня этим словам не учил. Но как жил он сам и как учил жить меня — из этого они проистекают. — И только Устинов хотел спросить, как же отец учил жить Родиона Гавриловича, как из кухни раздался стариковский, уже по-ребячьи писклявый голос:

— Дак пошто ты поминал отца-то, Родька? Хорошо, либо — худо? По какому такому случаю поминал-то его? — И, шлепая босыми, костистыми ногами по желтым половицам, в горницу вошел Смирновский-старший, Гаврила Родионович.

— Ну, зачем же я буду поминать вас плохо, папаша? — будто даже смутившись, развел руками Родион Гаврилович. — Ну, зачем? Садитесь вот к чаю, папаша!

— Ну, а тогда — ладно. Чаю-то не хочу, пил уже седни и не раз, а вот пришел узнать: энто не Колька ли Устинов у нас гостюет нонче! Не он ли?

— Это — он! — подтвердил Родион Гаврилович.

— Я и есты! — кивнул Устинов. — Правильно вы меня узнали, Гаврила Родионович!

— Ну, дак как же! Признаю ишшо своих-то, лебяжинских-то! Который раз, так и вовсе безошибочно признаю! Дак ты долго ли войну-то воевал нонче, Николка?

— Более трех лет, Гаврила Родионович. Чуть што — не четыре!

— Энто, слышь, мно-о-ого! А пошто же без победы отвоевались? Царь, поди-ко, виноватый? Нонче какой бы ни выпло неувязки — во всем царь виноватый! У Глазковых — соселей корова молока не дает, так Глазычиха — што? «Царство бы тебе, говорит, небесное, да и вместе бы с царем!» Энто она корове-то своей, слышу я, говорит и пустым подойником хлесь ей по морде!

— Ну, царь виноватый тоже, Гаврила Родионович. Как ему быть невиноватым, когда не сумел править государством?

— Царь — царем, а солдат — солдатом! Не-ет, мы дак так не делали, когда служили, не поступали! Мы и хвранцуза били, под городом Севастополем, и агличанку, и другую нацию, не упомяну ужю, кто там ишшо-то был с ими вмести!

— Ну, папаша, а город-то Севастополь вы же все ж таки отдали, тем, битьим? — напомнил отцу Смирновский-младший.

— А ты, Родька, брось энто рассуждение! Оно вовсе ни к чему! — покраснел Гаврила Родионович и хлопнул сына по коленке. — Оне город Севастополь взяли, верно, да и поскорее его обратно нам же отдали, послещили с его убраться! Энто же не столь нам, сколь им позор — взять, пролить своей крови, сложиться там полками не то — в могилы, а пряником в пленницы, а после — отдать город назад? Энто как? Энто же как Бонапарт, язвилло бы его, поблудил по Москве, и вот без шапки за свою границу едва живой является — дак энто за кем же верх-то? Обратнo, может, за им? А вас вот обоих спросить: вы-то сколь городов немцу нонче оставили, а назад — не взяли?

— Много, папаша! — вздохнул Родион Гаврилович. — Мы — много...





— А это — худо! Мы, говорю, так не делали, а глядели наоборот, как бы под себя чужедальные города побрать! В Балкании повстречались мы с турком, дак ить где только его не бивали? Взойдем в одну страну и тот же день — р-р-раз ему по морде! Он уйдет оттудова в другую местность — странно и языки мелкие там, за неделю — какую пешком проходятся, а мы его догоним и обратно — р-р-раз по морде! Он — в третью страну упрячется, и мы в третью за им! Он — к себе домой, мы к ему домой! А нонче — как? Родьян-то медалев сколь с войны взял и георгиев, ну и што? Георгиев-то взял, а города-то отдал! Вот те на! Страм, да и тольки!

Смирновский-сын глядел в окно, молчал, а Устинов выждал момент и спросил:

— Сколь же это вам годов-то нынче, Гаврила Родионович, исполнилось?

— Ой много, Николка! До того, слышь, много, што и не знаю, куды с ими деваться! Не берет мои годы смерть, язвилло бы ее! И ведь скажи — никогда и не было ее на меня — ни от турка, ни от хвранцуза, ни от кого на свете! И што я ей не поглянулся по сю пору — ума не приложу!

— Вот и хорошо, — улыбнулся Родион Гаврилович отцу. — И хорошо, что вы живы, папаша. Поживите еще!

— И — пожил бы! И не постеснялся, когда бы сам на полати залазил! А то ить не залажу сам-то, своей-то силой — вот где беда! Вниз-от — просто, а наверх — никак! Ну, а когда сам-то залазил бы — то и пожил бы ишло!

— А вы бы внизу, Гаврила Родионович, приладились! — посоветовал Устинов. — На лавке, на кровати, а то — на полу бы постелились — пол-от чистой у вас какой!

— На по-о-лу? На лавке? На крова-а-атке?! — взвился Гаврила Родионович. — Да што ты такое говоришь, Николка? Страм один говоришь, более ничо! Это на полу-то, да на лавках, да в кроватках — детишки спят, да ишко господа, да ишко путники разные, солдаты на постое! Вот кто! Видывал ты, Николка, штобы кто-когда чужой на полатях спал? Не видывал! Там хозяева только и находятся, более — никто! А я што — ужо и не хозяин в своей избе нонче? Нет?! — И Гаврила Родионович встал, фыркнул сквозь реденькую, не очень приметную бородку и ушел на кухню снова. Уходя — посмотрел на Устинова слезливыми, но еще бойкими и сердитыми глазками.

Родион Гаврилович спросил:

— Так подсадить вас, папаша, на полати-то?

— И — не надоть! — отозвался тот. — И на лавке вот посижу. Как ровно в гостях и посижу! Вот! — И с шумом закрыл двери из кухни в горницу.

— Обиделся? — спросил Устинов.

— Это — ничего! Пускай посидит на лавке и походит ногами, — сказал Родион Гаврилович. — Залеживаться — это вредно ему.

— Старорежимный он, старик-то, Гаврила-то Родионович!

— А я бы, Коля, я бы, Коля, счастлив был такую же жизнь прожить! И в таком же сознании прожитого умереть!

— Мне бы, Родион Гаврилович, снова узнать у тебя — не хватит ли нам убийства? Убийства своих и чужих? И храброго, и нехраброго? Кровопротития ученого, — как вот народные защитники эсеры, сами господа, в других господ, только монархистов стреляли, три убийства в день делали в России перед войной; и вовсе неученого — темного, как мы солдатики с буржуями в ири-фронтной полосе учиняли? И разве не подали мы нисколько примера, русские мужики, когда побросали на войне оружие — пропади оно пропадом, пуцай его берет кто желает, а у нас дома своих и мирных дел по горло?! Вот как мы рассудили, но тут являешься ты, Родион Гаврилович, со своею храбростью: «Нет, вы худо сделали, мужики! Идите и войите обратно до победного конца!» Ты, правда, получше других: хоть с нами же, со своими же мужиками не желаешь воевать, а только с чужим немцем и турком, но все одно твоя храбрость тебе покоя не дает, руки у тебя по оружию чешутся, душа по ему ноет... Геройство тебе необходимо, не можешь ты без его обойтись и вот уже ты отдельно от нас, мужиков, стоишь — герой, он ведь всегда отдельный и ему нельзя ни в Лесной Комиссии состоять, ни даже вместе со своей деревней вети в помочи и школу строить...

Смирновский отодвинул блюдечко с чаем, встал, походил по горнице, двигаясь быстро, но бесшумно — пимы-барнаулки звука не давали. Потеребил на себе подтяжки и сказал:

— А ведь ты, Коля, не обо мне. Ты — о себе. Учителя, Коля, ищешь.

— Ищу... — согласился Устинов.

— А заблудший — какой же учитель? Такого не может быть!



— Почто же? Святые вон тоже много блуждали. А — учили. Зависит от чего и как человек заблудился, от ничтожества своего или от того, што слишком много в нем человеческого, гораздо более, как во всех других людях.

— Нет, Коля, я от учительства отказываюсь! Не могу! О себе скажу, не скароу, хоть и не знаю многого, о тебе — знаю, но не скажу — не имею права. Не уверен.

— Ладно! — согласился Устинов. — А вот у тебя-то, Родион Гаврилович, был учитель? Не поверю ведь я — будто не было? Когда ты не от родного отца научился тем словам, которые нынче произносишь, тогда — от какого же? Может, от отца-командира? От — Зурабова-капитана?

— Нет! — медленно пожал плечами Родион Гаврилович. — Нет, Зурабов от меня отказался... Учительствовать надо мною не смог... так же, как и я нынче отказываюсь от тебя. Точно так же.

А капитан Зурабов — очень известный был офицер в полку, и говорили — друг Смирновского. Заметно было — не очень-то старшее начальство его жаловало, хотя он и благородных был кровей, первостатейной выправки и тоже особой храбрости человек. И только когда полк нужно было представить генералитету — батальон Зурабова чеканил шаг впереди и сам он тоже шел при всех своих орденах картинка-картинкой... А строгости к нижним чинам был невероятной, и в конце войны случилось с ним вот что: сначала Зурабов заседал в военно-полевом суде и многих пострелял солдат за невыполнение приказов, за дезертирство, а потом солдаты схватили Зурабова, судили уже своим судом и расстреляли тоже.

Смирновский помолчал. дал время Устинову вспомнить и подумать о капитане и, как бы подхватив его воспоминание, заговорил, шагая по горнице туда и сюда:

— Ну, а перед расстрелом он просил об одной только льготе: о встрече со мной. Встретились. И что он мне сказал? Мы, дворянство, — сказал он мне, — от истории русской, от православного бога, от всего человеческого обязаны были строго блюсти Россию. Но — не соблюли ее, не сумели. Не нашли в себе сил обновить престол, сделать его современным, подать ему руку помощи. Мы только рабствовали и пресмыкались перед ним — уже бессильным и порочным и все жаждали и жаждали от него наград, чинов, званий и благополучий, хотя в нем-то самом не было уже ни капли благополучия, а только призрачная видимость его. Эсеры стреляли в царя, и мы проклинали их, а это был для нас позор — не они, враги престола, а мы, друзья его, должны были стрелять в царя, чтобы спасти его и престол от позора и бесчестия, как не раз и не два спасали его от этой беды наши предки! И нету другого и не может быть столь же тяжкого греха и человеческого падения, как служба призраку и лесть ему, и приближение к нему, и славословие его перед теми, кто от него далек и не знает о нем полной истины! За это — нам кара, сгореть нам и развеянным быть по ветру. Но как бы только это — то почел бы я себя счастливым. Другое вижу: в том костре, в котором будем мы, грешники, пылать — не сгорит ли невинно вся Россия? Всегда ведь было: вместе с истинным грешником сколько человеческой невинности в том же костре пылало? Вот в чем пытка мне и страх, и мечь. Ты, Смирновский, — сказал мне тогда капитан Зурабов, — тоже есть аристократ и потомственный дворянин, только — крестьянский. Ты прости нам, что мы и с тобою были тоже подлы и двуличны, что руки тебе не подавали в офицерском собрании! Прости, что дружили мы годы, а я позволил себе говорить с тобою так, как сейчас говорю, лишь в свой последний час, и для того, чтобы в час этот иметь на тебя надежду: прокляни мой пепел, но — сделай! Сделай то, чего не сделали мы, не допусти сгореть России вместе со мною! Вот как было, Устинов... А помещение арестное было низкое, аршина два с небольшим, а Зурабов, помнишь, высоким был, он говорил и сам горбился все, а потом и стал передо мною на колени... Вот как было, Коля.

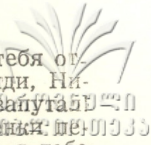
В кухню перекликнулись щеглы, потом закашлялся Гаврила Родионович. Устинов спросил:

— И как же он тебе не учитель после того, Родион Гаврилович? Он же тебе, сказать, так завещание оставил. Какое понимал, каким жил — то и оставил! Он — учитель тебе, и мне это понятно!

Смирновский снова сел. положил на столешницу руки, на руки — голову и калмыковато, по-своему, поглядел на собеседника, а потом, и совсем почти закрыв глаза, ответил:

— А завещание, Коля, это и есть отказ от человека. От учительствования и братства. Завещание — это какие по смыслу слова? Это: «Иди!.. Иди один, как хочешь, как можешь, а — я остаюсь, отказываюсь. Меня с тобою нету! Вот тебе восток, вот тебе — запад — иди!» Но кто же не знает, где восток, а где — запад? Все знают! Для кого их нету? Для всех они есть, даже — для птицы небесной, даже для мышонка какого-нибудь. А вот как их достиг-





нуть? Как не заблудиться между ними? Вот и я, Коля, точно так же от тебя от- казываюсь, как капитан Зурабов отказывался от меня: «Иди, Устинов, иди, Ни- колай Леонтьевич, делай, что я не смогу сделать, распутывай, что я запутал!» Иди, дорогой мой и ненаглядный, на тебя моя надежда! И даже на колени тебе ред тобою встану. А что он сказал мне все это в свой последний час, а я тебе говорю еще не в последний — какая разница? Не вижу никакой... Не вижу и только думаю про себя: на капитана Зурабова тоже ведь кто-то переложил де- ло, завещание это, он переложил его на меня, я — переложу вот на тебя... Ну, а ты на кого переложить, Устинов — на Игнашку Игнатова?

— Что ты?! — испугался Устинов. — Да ведь я же мужик, Родион Гав- рилович. И дело мое навеки мужицкое: пахать и сеять! Вот уж его я ни на кого и никогда не переложу, и в этом — клянусь! И не вижу, будто дело слишком уж маленькое — не маленькое, потому что если нету его — нету ни тебя, ни меня, ни войны и ни мира, ни скотины его домашней — ничего нету! И дело мое — мой неизменный уговор с жизнью: я его делаю, но за это жизнь и никто в жизни пусть со мной не выкомыриваются, со всяким слишком ко мне не при- стают. Со всяким слишком я саму-то жизнь понужу прочь от себя! С меня хватит того, что крестьянству я — верный подданный, а, который раз, и раб! Но зато в другом во всем — я вольная птица, хочу — иду в Лесную Комиссию, хочу — не иду, хочу — ищу учителя себе, хочу — не ищу никого, сам знаю, как земля пашется-сеется, и хватит с меня! И не лишай меня моей воли! Я учителя ищу — но для того лишь, чтобы остаться тем, кто я есть!

— Она тебе мнится, Устинов, твоя воля... — раздумчиво, но строго и даже упрямо ответил Смирновский. — Ты только подумал раз-другой о чем-то, что к твоему крестьянству не относится, ты пошел в Лесную Комиссию, тем более — ты отправился на войну — так уже и распрощался с ней и понял, что вольность твоя — это неволя. И вспомнил про древнего человека: тот в своей пещере жил и дальше, чем на полдневный переход от нее, ничего не знал, так, может, он и был самый вольный человек? А ты, Коля, совершенно не такой, нет, ты долго себя обманывать не сможешь, как бы не был тебе мил и нужен тот об- ман! Или ты ищешь, чтобы я подтвердил тебе твой обман? Я не сделаю, Коля, этого...

— Нет, Родион Гаврилович, я в действительности такой: мужик, мужик, и опять — мужик! Безо всякого обмана! Неужто не веришь?

— Ну, ну, Коля! Я ведь помню, как тебя в пулеметчики готовили: два раза при тебе «максима» собрали и разобрали, ты глядел во все глаза, не ды- шал, и в третий раз собрал его сам. Тихонько так, осторожно, снова будто бы не дыша, будто бы незряче, а на ощупь — но собрал. В пулеметных школах этому едва ли не полгода обучаются. Кто своими глазами этого случая не ви- дел, тот не поверил. Капитан Зурабов не поверил, и я у него пари выиграл — представил ему свидетелей. Ну, а если человеку дано вот так чужое дело по- стигать — значит, он уже не тот, каким сам себе и другим сегодня представ- ляется. И не напрасно выиграл я пари у капитана Зурабова!

Но Устинову в этот миг совсем было не до капитана, другой ему вспо- минался случай: мальчишкой еще уцепился однажды он за конек на крыше и по- чувствовал — нет больше сил держаться и сейчас он поползет-покатится, упа- дет на землю, расшибется насмерть! Солнышко светит, небо синее, петух поет, а он уже ни за что за это держаться не может, все это — в последний раз. И действительно — покатился и расшибся, единственно, в чем обманулся он тог- да, — остался жив.

Ну, тогда молча дело происходило, а нынче Смирновский еще и уговари- вал его: «Брось, Коля, не держись сам за себя, так и так тебе катиться и падать куда-нибудь!» Не то, чтобы страх смерти, а все равно смятение страшное!

Устинов отер пот рукавом рубахи, поправил на лбу взмокшие волосы, сказал:

— Когда в подкидного либо в двадцать одно играем, Родион Гаврилович, вот тогда как бы ни бросил карту, валета, даму, либо короля — оне со всех сто- рон сами собою остаются. Но то — карты. У человека же — фигура непостоян- ная. Положи его лицом к себе — он мужик, переверни — нет, не мужик, кто-то другой. А не надо нам вертеть друг другом! Я тоже тебя поверну, поручик Смир- новский, и ты себя не узнаешь и не поймешь! И — не поймешь! — крикнул вдруг Устинов, навалившись грудью на стол и показывая пальцем почти в ли- цо Родиона Гавриловича, в калмыковатые недоумевающие глаза. — Ты вот герой, особый, военный человек! А герой — как понимается? Он смело и храб- ро убивает других! Простой гражданин просто это делает, а герой — тот с ге- ройством! Простому указывают: ты худо с убийством управляешься, без азар- та, учись у героя, как надо делать! Но нету же в том справедливости!! И чело- веческого истинного ума — тоже нету, одно безумие! Для будущего будто бы делается: сегодня убей, а завтра через то всем хорошо будет! Но кому полу-



чалось сегодня хорошо от вчерашнего зла? Никому! И не сыты ли мы убийством друг друга по самое горло. И — по глаза! И вот уже кругом подступает оно к нам, в Лебяжне, ко всей нашей местности — и с белой, и с красной, и со всех сторон, а ты все ищешь в нем красоты, то есть все того же своего героизма! Против братоубийства ты, — знаю, и даже — верю, но ты, словно охотник, ждешь момента: выстрелить бы! Только определиться бы тебе к белым, либо — к красным, и пойдешь, и пойдешь ты героически стрелять людей! Только бы — определиться! — вот за чем у тебя случилась остановка, чем ты нынче мучаешься, почему на люди не хочешь показываться. И меня, мужика, ты хотя и не говоришь о том, все равно хочешь обратить в то же мучение, чтобы, пройдя через него, я снова стрелял в людей! Но я, пока я мужик, такого не хочу, не хочу больше стрелять, хочу пахать, сеять, лес охранять!

И дрогнул Смирновский, так что пришлось ему привести себя в порядок — он застегнул пуговичку на рубаше, поправил подтяжки, а потом уже спросил:

— А, может, в самом деле, ты мужик, Устинов? Если не отличаешь убийства от войны? Да как же устраивать жизнь-то, если она без войны не обходится? Без рождения жизнь не обходится, без обычной смерти и без смерти на поле боя? Когда война — ее закон? И когда так, единственно, что можно и нужно, — чтобы война тоже велась по своим законам, чтобы не вырожда-лась она во всеобщее насилие, в погибель для женщин, стариков и детей! Чтобы храбрость не оборачивалась низменной подлостью. И чтобы «Не убий» го-же не взяло верх надо всем на свете, потому что при этом остаются одни только молитвы, действия же в пользу идеала, величия и любой государственности не может быть! И даже для того, чтобы сказать «Не убий!», сначала надо быть сильным, потому что в устах слабого это даже смешно, и все философы, которые сказали «Не убий!», все писатели, которые это проповедают, — все они, заметь, Коля, народились в государствах сильных, на мир влиятельных!

И уже в ту минуту, когда Смирновский набрал уверенности, набрал звонкости в голосе, он вдруг, как ударился обо что, и вдруг — замолк.. Замолк, уронил голову на руки и не то проплакал, не то простонал: «Коля, Коля, да бог с ней, с войной, я ведь чего боюсь, отчего страдаю? Смелости и чести не надо будет для нас, их мы уберем, не себя, а их! Не нужны нам будут смелость и честь, отрешимся мы от них — а чем заменим? Что — вместо них? Может — ничего? Может — подлость и бесконечный страх смерти? Отбери честь у человека, и что ее место займет? Страх займет! Ужас! Подлость всяческая!

— Ладно уж, Родион Гаврилович! — сказал Устинов тихо и глядя куда-то в сторону. — Ладно! Я — Устинов, ты — Смирновский, а чего-то нам кроме того все время надо и надо? Мы потому ведь замаялись, што вот она — война, вовсе близкая. Дышит тебе день и ночь в лицо и в глаза — зажмуриваться не успеешь!

Смирновский встал и, тоже глядя в окно, ответил:

— Мне еще потому нынче вот так трудно с твоих слов делается, Устинов. что ты — храбрый солдат! Кого-кого, а тебя-то я видел в деле! Тут вот женщины ко мне приходила одна. Умная женщина. Хорошая и красивая. И она вот так же говорила, а я — так же ее слушал. И женщине я не удивлялся. Но когда ты, Устинов Николай Леонтьевич, храбрый человек, точь в точь ее слова произносишь — смятение происходит во мне! Ведь от смятения же такие слова и мысли, от зыбкости нашей, от незнания, как нынче нам, мужчинам, жить и поступать?! Женщина этого не знает — ладно. Но когда ты, Устинов Коля, не знаешь тоже, и даже — уходишь от этого, и даже — хочешь не знать, тогда как же мы все будем жить? И ты, и я, и Гаврила Родионович, и та женщина? Каким образом?

— Какая — женщина? — вздрогнул Устинов. — Какая?

— Гуськова Зинаида... Она и приходила ко мне.

— Как так?

— Книжку спрашивала. Такую книжку, чтобы доказывала: убийство необходимо и без него нельзя людям существовать! Она даже и не очень поверила, будто у меня такой книжки нет! Вот так-то, Коля... Что это, Коля, глазо-то у тебя? Очень уж странные. Ты одумайся. Коля... Я тебе мешать не буду, а ты — одумайся. Сам. Один. Наедине.

И они еще постояли в горнице молча и пошли в кухню — Устинов собрался уйти, Смирновский — его проводить.

— Это давеча сижу я вот так же, как сейчас, на лавочке, только не в избе, а на улке — и гляжу, идешь Ваньша Саморуков! — как будто и не прерывая давнего разговора, обратился Гаврила Родионович к Устинову и подозвал его к себе пальцем. — Я говорю: «Ваньша! Чтой-то тебя скособочило — правое-то плечо у тебя все вперед да вперед, а другое, дак назад и назад? Либо мне по моим годам глаза уже неправильно это показывают?» Он мне говорит: «Правда твоя, Гаврилка! Твоя правда, мало того, што оне у меня, плечи-то, сде-



лались одно наперед, другое — назад, оне, гляди-ка хорошенче, ишло и по-разному находятся: одно-то выше, а другое — дак ниже!» Тогда я его обратно спрашиваю: «Ваньша, а Ваньша — а на полати-то с этакими плечами ты сам залазишь-то, либо — с чужой подсадкой?» Он говорит: «Сам!, я говорю!» «Брешь, Ваньша!» Ну и полатах он уже! «Ну, верно, што, — сказываю я Ваньше, — ты, Ваньша, до-о-олго ишло проживешь, когда такое дело!» Он говорит: «Ето што, ето — ерунда. вот што! А вот по осени, когда школу миром ставили, я, веришь ли, дак ласточкин хвост вырубил на шествершковом бревне!» Ну, а я об энтот ему уже не поверил — не смог. «Перехвастал, — говорю, — паря, двадцать два набрал!» Сказал ему так и подался домой к себе. А дома-то у себя обратно задумался: а вдруг Ваньша-то и тут не наврал об ласточкином хвосте?! Вдруг опять же это истинная правда сказана им? Ведь вот об полатах — правду, а не здря сказал он, своими же я глазами видывал, што не здря! Мы же с им дружки ишло с мальчишеских времен — и вдруг я ему не верю ни-сколь?! Ваньша, правда што, службы как бы и вовсе не служил, а я, слава тебе богу, побил-повоевал разных турков, но все однс же — дружки мы с им и вдруг я не верю ему?! Ты вот скажи-ка, Николка, известно ли тебе. видел ты своими глазами, как Ваньша Саморуков рубил ласточкин хвост?!

— Мне это известно, Гаврила Родионович, — сказал Устинов. — Видел я своими глазами.

— И бревно — об шести вершинах?

— Как ни толще, Гаврила Родионович! И всенародно было им сделано, Иваном Ивановичем!

— Всенародно! — схватился Гаврила Родионович за голову. — Он — всенародно, а я ему, дружку, не поверил! Страм-то какой, страм-то, Николка — энтот надо же, в какой страм залез я по уши! Ай-ай-ай! Ай-ай!

И Гаврила Родионович топнул ногой и закричал: — А ты, Родька, пошто стоишь тут столб столбом? Пошто не посадишь меня на полати-то, от страма подале? Ну?!

Родион Гаврилович посадил отца, вздохнул и сказал:

— Ну, до свидания, Коля... Вспомнились мне вдруг еще петровские слова: «Не знают себе никакого убежища!» Это — не про нас ли с тобой сказано было? Что про меня, так в этом я уверен, так и есть...

Устинов кивнул, постоял и протянул Смирновскому руку:

— До свидания, Родион Гаврилович!



Мартин КАРАМЯН

## *Руку, Новый год!*

Дай мне руку, Новый год!  
В синей дымке добрый вечер  
Вечен, звездами расцветен  
Долгожданный твой приход;  
Чистый, радующий всех,  
Голос твой и свеж, и звонок,  
Людям, как в семью ребенок,  
Ты принес задорный смех;  
В звездных снах к землянам мчась  
Средь космических пиланий,  
Исполнение желаний  
Ты приблизил в добрый час!  
Ты спешил что было сил,  
Ты летел навстречу людем,

А в двенадцать ты салютом  
Звезды празднично затмил!  
Честным людем всей душой  
Я желаю много счастья,  
Трудового соучастья,  
Дружбы и любви большой!  
Слава партии родной!  
Новый год поют куранты,  
Скоро новые таланты  
Засияют над страной!  
Чтобы год не знал невзгод,  
Чтобы светлым был и мудрым —  
Год удачи, с добрым утром,  
Доброй ночи, Старый год!

Перевод с армянского Глана ОНАНЯНА





Имя Гурама Рчеулишвили не только хорошо знакомо грузинскому читателю, но и любимо им особой, я бы сказала, трепетной любовью. Сверкающим пером прочертил он небосвод современной грузинской литературы, оставив след — нестираемый и прекрасный.

Жизнь писателя только начиналась, двадцать шесть весен встретил и проводил Гурам — и ушел. Ушел трагически и внезапно, а быть может, так и надлежало ему, — ушел в штормящее Черное море спасать тонущих. Они были спасены, те люди — его одного не отдала стихия.

Это было 23 августа 1960 года... А в июле семьдесят четвертого он отметил бы свое сорокалетие!

Творчество Гурама Рчеулишвили несет на себе печать подлинного таланта. В каждом, пусть самом коротеньком его рассказе, даже в таком, который больше чем зарисовкой и не назовешь, звучит струна настоящей поэзии, поэзии мысли и чувства, без которой не рождается большая проза.

Гурам Рчеулишвили не просто любил свою родину и народ — он был истинным гражданином и патриотом. Судьба народа, его душа и характер, его сегодня и вчера и предначертанное ими завтра — вот что тревожило, волновало и вдохновляло молодого писателя, всем своим существом ощущавшего пульс современности. Он жаждал знать как можно больше — и он читал, изучал, путешествовал, он прислушивался и присматривался — чтобы всем сердцем, разумом, всеми чувствами своими осознать, осмыслить, прочувствовать окружающий мир. Каждая строка его согрета любовью к человеку и к природе во всем ее многоголиким богатстве. И повсюду в его произведениях ощущается боль сердца писателя — боль за радость и за печаль, за свет и за тень, та нестихающая боль обнаженного сердца, без которой не бывает подлинного художника.

Однако лучше и вернее всего говорят о писателе его произведения. Черты творческого облика Гурама Рчеулишвили высветят две его новеллы — «Безымянный из Уплисцихе» и «Батарейка Чинчараули». Обе они включены в первый сборник произведений Рчеулишвили на русском языке, готовящийся к выходу в издательстве «Мерани».

Камилла КОРИНТЭЛИ

## Гурам РЧЕУЛИШВИЛИ

# Безымянный из Уплисцихе

Однажды я загорелся желанием написать историко-литературный очерк о древнем городе Уплисцихе. Однако, взявшись за перо, я понял, что это не так просто. Я никак не мог решить, с чего же мне начинать. В голове моей блуждали отрывочные мысли, возникали неясные образы... Промаявшись так с неделю, я, наконец, понял, что начинать надо с изучения истории города Уплисцихе.

Скудость источников поразила меня. В моем распоряжении оказались лишь голые факты, да и то весьма немногочисленные, а отступать я уже не мог. И вот я принялся изучать расположение древнейших торговых путей, пролежавших через Уплисцихе, историю возникновения города, ознакомился — по картам и книгам — с его окрестностями, и тут у меня завязался узелок — я со-



ставил конспект. Я уже почувствовал а л Уплисцихе, я вошел в него.

...Вечер.

Я сижу в своей комнате и просматриваю конспект. Он нравится мне, и Уплисцихе увлекает меня все больше. Как много живых в мертвой истории!

Первое поселение на территории скального города возникло приблизительно во втором тысячелетии до нашей эры. В ту же пору происходит заселение нынешнего Уплисцихе по обоим берегам Куры (там, кроме всего, были обнаружены остатки поселений времен неолита).

В античную эпоху усиливаются поселения на территории Карталинии. В первый период этой эпохи особенно активизируется правобережье Куры. Здесь поселения гнездятся вдоль ущелий притоков Куры, и каждое ущелье представляет собой отдельный укрепленный район. Более мелкие поселения объединяются вокруг какого-либо одного крупного и, следовательно, более сильного. Тогда укрепления обычно возводились на холмах. Раскопки одного такого холма-укрепления ведутся ныне на горе Ховле, что возле села с тем же названием. Однако укрепления эти не выдерживали натиска более сильного противника, а нашествия и войны были часты, и постепенно, с возникновением классового общества, древние укрепления утрачивают свое политическое и экономическое значение и приходят в упадок. Следы упадка хранит и Ховле-гора.

Постепенно левобережье Куры обретает экономическую и политическую мощь. Там возникают уже города, довольно хорошо укрепленные, — Мцхета, Уплисцихе, Гори, Урбниси. В эллинистическую эпоху через эти города пролегает один из древнейших в мире путей: из Индии — в Колхиду. С юга он поднимается к северо-западу, огибая Каспийское море, идет вдоль Куры через Хунан, Бостан-калаки, Мцхета, Уплисцихе, Гори, Урбниси, Шорапани и далее — до самого Фазиса, стольного города страны колхов.

К этому времени Уплисцихе — сильный и богатый город. Завершаются его отстройка и укрепление. Во всех работах широко применяется рабский труд. Вокруг города растут деревни. К западу от Уплисцихе, в направлении Гори, ныне обнаружены следы большого поселения типа Ховле-гора. В ту эпоху уже имелся «избранный господин», которому подчинялась вся округа. Простой люд жил за городскими стенами. Уплисцихе той эпохи — неприступная крепость, взятие которой силами существующей техники было невозможно. С южной и западной сторон город надежно защищали глубокие пропасти, а

с северной и восточной — искусственные рвы шириной до десяти, глубиной до пяти метров, прорубленные в скалах. Уплисцихе интересен не только как крепость — он поражает своеобразием архитектурного решения: в каменных недрах скалы вырублены огромные залы и коридоры, комнаты, келейки, молельни, и все-все богато украшено искусной резьбой по камню.

У стен города не редкость караваны верблюдов и мулов, нагруженных разнообразнейшими товарами древнего Востока. Когда усиливаются Гори и Мцхета, Уплисцихе налаживает культурные связи с этими городами. Свое влияние он сохраняет и в период владычества арабов. Более того, он является одним из опорных пунктов движения за воссоединение Картли. В борьбе за овладение Уплисцихе соперничают царь Армении, царь Абхазии и знаменитый арабский полководец Абуль-Касим. На памяти Уплисцихе и братоубийственная война — это когда царь Георгий Абхазский окружил крепость «со всеми силами своими и привел царей Таосских и епископа Фадла, и подступили они к Уплисцихе и сражались много дней и ночей и ничем не повредили крепости. А было в крепости множество войска...» Как видно, взять Уплисцихе можно было лишь в случае измены изнутри или же с помощью очень сильного войска.

С ослаблением арабов в Грузии, особенно после освобождения Тбилиси, Уплисцихе постепенно утрачивает свое военно-политическое значение и живет уже тихой, безмятежной жизнью...

Итак, изучив историю города, я еду посмотреть на него. Я ожидаю увидеть хорошо знакомые места.

Поезд отходит рано утром. Утро серое, задумчивое. Совсем не жарко.

Железнодорожное полотно прокладывает себе путь между бесчисленными домами — большими и маленькими. Город кончается, а дома все бегут, бегут за поездом. Наконец все остается позади.

Мелькают церкви, темные зевы пещер... Точно кинокадры, набегают не однажды пережитые мною и с каждым разом все более волнующие Джвари, Светицховели, Самтавро, Саркинети, Армази... Обитель Шно-Мгвине... Старинная крепость на вершине скалы... Пассажиры посмеиваются, переглядываясь: «Знаешь, как называется эта крепость?» — тихонько спрашивает меня один из них. Да, я знаю и тоже улыбаюсь. А попутчик все же рассказывает — и как называется крепость — по-крестьянски крепким, соленым словечком в насмешку над врагом, и про осаду ее турками, и о потайном ходе, по которому осажденные пробирались к



реке и ловили там форель, а потом, со стен крепости, показывали эту форель туркам, а турки сходили с ума от бес- сильной ярости. Они тогда потерпели поражение, турки... Да, знаю, знаю я эту историю. Я и другое знаю. Внутренний взор мой проникает за эти горы, и в глубь земную проникает, и память с готовностью высвечивает то, что я изучал недавно. Там, за горами — ущелья и скалы Карталинии, там роди- на Георгия Саакадзе — Ностэ и Эрта- минда. А здесь, передо мной, спят по- селения двухтысячелетней давности.

Вот Каспский цементный завод. Бе- лые меловые холмы за ним.

Тучные поля, ухоженные трудолюби- выми руками, цветущие сады, бахчи, огороды... Радуют глаз новые крестьянские дома с просторными деревян- ными балконами.

Поезд идет, останавливается, снова идет... Станция Гракали. Отсюда видне- ется село Ховле. Там ведутся раскоп- ки древнейшего кургана. С поезда я различаю линию контрольного рва.

Опять остановка. Я схожу. Это стан- ция Квахврели. Здесь когда-то, в незапа- мятные времена, мои предки долбили скалы, соорудив себе жилища. Отсюда и название: «квахврели» — «каменная щель», «выбоина». А сейчас деревня — вся в цветущих садах. Прямо про- тив меня чернеют пустые глазницы Уп- лисцихе. Солнце, которое все-таки поя- вилось, припекает — жара. Я сажусь на каменистом берегу, над самой водой. Отдыхаю. Чуть ниже по течению крестья- не мастерят паром. Правее, на возвы- шенности, идет строительство — воз- водят жилые дома. Я чувствую себя утомленным — столько впечатлений за один день! Ни клочка земли, который не имел бы своей истории! А история этой местности — всего-навсего части- ца большой истории моего народа. Я не хочу думать... Мой народ был трудолю- бивым и неутомимым...

Солнце печет уже вовсю. Медленно иду меж рядов фруктовых деревьев. Вот уютный уголок в тенечке — и я устраиваюсь передохнуть минуту-дру- гую.

Я иду дальше. И вдруг, совершенно неожиданно, зелень обрывается — сбо- ку пышет жаром раскаленного Уплис- цихе.

Я поднимаюсь в каменный город. Сперва осматриваю пещеры верхней террасы, затем спускаюсь вниз. Мне почему-то трудно здесь освоиться. Ве- тер свищет в расселинах. Под ногами осыпается порода. Ветер завывает. По камням скачут длинноногие жабы, ни дать ни взять — бесенята. Они появля- ются как-то вдруг и вдруг же исчеза- ют в неприметных щелях. Я швыряю в одну жабу камешком. Жаба в полней-

шем изумлении глядит на меня, гля- дит — и удирает. Я бросаюсь за ней и вовремя останавливаюсь: передо мной пропасть. А жаба скачет вниз по голово- кружительному склону обрывая, потом останавливается и оглядывается! Дале- ко внизу виднеется село. Память под- сказывает недавно прочитанное: неко- гда на этом самом месте было большое поселение. Теперешнее село, конечно, ни капли не похоже на то, древнее. Мне представляется, будто жаба бежит в село и возвращается обратно и будит своих сородичей... «А может, эти жабы — потомки древних завоевателей, — думается мне, — они заколдованы, и на них броня...»

Пустыня и тишина. Только ветер свистит, свистит... И жара, жара, жара!.. Песок забивается в глаза, в ноздри. Ед- ва волока ноги, я забираюсь в глибо- кую пещеру и растягиваюсь на песке. В пещере он такой прохладный, песоч! Лежу на спине и разглядываю пото- лок. Глаз постепенно привыкает к тем- ноте. Я различаю резьбу на каменных сводах. Они расписаны, как ковер. А жаб здесь нету — жабы не любят хо- лода. Я долго гляжу на резные узоры. Глаза мои устали, я уже с трудом от- личаю старые узоры от новых надпи- сей. Вспоминаю прочитанное в летопи- си: «камень уплисцихский мягок, подат- лив, удобен для обработки...» Так-то вот, теперь каждый может вырезать здесь все, что вздумается...

Я выхожу из пещеры.

Жарко.

Спускаюсь вниз и вхожу в коридор, который ведет наверх. Высота его в среднем — метра четыре. Он искусно вырублен в скале. Неожиданно коридор круто поворачивает и — обрывается! Опять пропасть. Только через этот ход возможно было проникнуть в Уплисци- хе. Я поднимаюсь по уступам скал. Отсюда пропасть кажется еще глубже. Страшно смотреть! И от того, что про- пасть такая страшная, смутная радость охватывает меня. Ах, ну и печет же это солнце!

Я возвращаюсь обратно, в мою пеще- ру. Я лежу на прохладном песке и вспоминаю, вспоминаю... плаваю в вол- нах истории города Уплисцихе. «Уплис- цихе»... «крепость господня»... Не- сколько имен — цари, князья. И все! Как странно, однако, почему же не со- хранилось имени какого-нибудь просто- го крестьянского парня, простого героя? — размышляю я. Меня будто и в сон клонит, а уснуть я отчего-то не могу. Лежу с закрытыми глазами — так мне лучше видится все.

...Ночь в осажденном Уплисцихе. Го- рят костры дозорных. В больших кот- лах кипит смола. Дозорные собирают в кучки камни — благо здесь за ними и



ходить не надо. По ту сторону пропасти, внизу — враги. Только над пропастью не горят костры — не нужен там никакой дозор. Подняться по отвесной круче да еще в такую темень не под силу смертному.

Небо низко нависло над Уплисцихе. Моросит.

В тот год снег выпал необыкновенно рано и быстро стаял с неуспевших остыть, накаленных летним солнцем скал. Только по стенам пропасти, зацепившись за кусты, белеют там и сям остатки снега.

Ветер со свистом мечется в теснинах. Воины кутаются в свои одежды. Ветер проникает сквозь грубые толстые ткани, ветер обжигает уши.

Тихо в молельне. Там женщины, преклонив колена, взывают к милосердию творца. «Сохрани и помилуй моего сына, владыку...» Творец безмолвствует.

А сыновья спят в каменных покоях Уплисцихе. На каменных ложах — пахучее сено, поверх сена — ковры узорные, и тревожно спят на них юные воины. Вот один из них просыпается, всхлипывая (а усы-то — пушок один!), приподнимается на ложе, не открывая глаз, зовет мать — и вновь погружается в сон. Потом другой привстает и тоже со сна зовет мать... А мать — ничком на каменных плитах, недвижна, как эти плиты, и только губы шепчут беззвучно: «Сохрани и помилуй, господи...».

Холодно, промозгло.

Ветер швыряет в глаза песок, завывает с присвистом.

Враги там, внизу, готовятся к штурму.

Штурм начнется на рассвете.

Защитников крепости — горстка, врагов — тма-тмуца. Мрачен, задумчив великий князь, властитель Уплисцихе.

Штурм начинается на рассвете...

Полуночный ветер разогнал тучи. Морозит. Ветер крепчает. А над головой — звезды. Крупные, далекие... Звезды в безлунной черноте...

...По стене пропасти карабкается вверх человек. Истерзанные ступни безумца обнажены — ни в какой обуви не удержаться на заиженых камнях. Руки ободраны в кровь. Но ничего не видно в темноте — ни рук, ни глаз его, ни пересохших губ. А холоду и не нужен свет — холод зряч и во мраке, холод пробирает человека с головы до пят, холод сковывает его пальцы. Но человек все карабкается вверх.

Вот уже шесть часов прошло... Сначала он полз по ровной каменистой земле, — дорога от вражеского стана до самой уплисцихской пропасти идет по равнине. Трудно было выбираться из стана, а он выбирался из самого сердца

его, потому что он, этот отчаянный смельчак или безумец, — повар военачальника врагов. Когда и как случилось, что он стал у них поваром, он не помнит. Память его заволочена густым туманом. Одно лишь светится сквозь этот туман: родина — Уплисцихе, все те, кому он служит, — враги его родины, его враги. Но его враги не боятся его, они даже планы свои обсуждают при нем. Потому что, прежде чем сделать его поваром, у него вырвали язык, — военачальнику не нужны говорящие слуги. Немой повар многое знает, знает и то, что они, господа и враги его, собираются проникнуть в крепость потайным ходом, о котором они разведали. И вот он пошел, он идет в Уплисцихе, чтобы сообщить это своим. Он висит над бездной, но все существо его стремится вверх — там Уплисцихе и братья его.

В молельню, где в тишине матери молятся за своих сыновей, за Уплисцихе, вдруг с ревом врывается ветер. Бухает тяжелая дверь. Входит тот, кто карабкался вверх из пропасти. Входит, делает несколько шагов и останавливается, и стоит, созерцая... Падает на колени перед своим богом и молится...

Женщины в смятении поднимаются с каменных плит и жмутся к стенам.

Мчатся секунды.

Бегут минуты — пять, десять, тридцать...

...Он идет, ступая медленно, с мучением преодолевая каждый шаг. Воины следуют за ним. Он объясняет им что-то жестами — ведь он нем. Кровавые следы остаются на полу.

Солнце восходит над Уплисцихе. Будто и не было промозглой студеной ночи. Солнце освещает молельню. Широкий золотой луч проливается в окно и, падая на пол, озаряет коленапреклоненную фигуру. Лицо молящегося бледно и губы недвижны, но глаза сияют, пламенеют великой радостью.

Женщины возносят хвалу господу — велик и милосерд господь, наш спаситель...

Солнце ласкает камни и скалы Уплисцихе. Трупы врагов повсюду — по краям пропасти, перед потайным ходом, внутри него. Воины роют большую могилу — трупы надо предать земле сегодня же, потому что завтра они уже будут смердеть.

Где-то поет волянка.

День светлый, радостный.

Светел и ясен лицом князь, властитель Уплисцихе. Он проходит под гулками сводами, проходит в просторную залу. Велит привести неизвестного — спасителя Уплисцихе.

Слуги вносят его на носилках: он не может ходить, ступни его — сплошная



рана. Бережно усаживают его на тахту. Сам великий князь благодарит его и велит назвать имя. А он нем! Тогда просят написать на бумаге свое имя. А он не умеет писать!..

В тихой келейке седовласый чернец, раб господен, неспешно листает толстую книгу — летопись земли Грузинской.

И на чистую страницу ложатся письмена: «в лето Христово... милостью Божией великий князь Вамех поразил врага под стенами Уплисцхскими и обратил в бегство...».

Я встаю. Мнится мне, что я знаю имя неизвестного из Уплисцхе. Важа — так звали его. Или Цкалоба. Или Махара. Или еще — Китэса. Это самые простые, неприятительные грузинские имена! Так издревле нарекали крестьяне своих детей. И его так звали. Да, да, его звали одним из этих имен...

Жажда одолевает меня. Фляжка с водой у меня на поясе, а я не пью — почему-то хочется, чтоб жажда стала совсем нестерпимой.

Я вхожу в широкий коридор. Вдоль стен стоят каменные столы и скамьи. Я сажусь на скамью. Знать бы, кто сидел на этой скамье! Может, сам Вамех, князь Уплисцхский... а может... может... Я опять ухожу в свои мысли. По-

том начинаю писать. Потому что не возможно — увидеть столько и не написать ничего. И я исповедываюсь страницам.

Однако смутно и беспокойно у меня на душе, я никак не могу полностью сосредоточиться. Так хорош стол этот каменный и будто удобна скамья, а я все не могу устроиться удобно, не могу сосредоточиться! Здесь все такое древнее, такое таинственное...

Я встаю с этой скамьи.

Все вокруг меня — древнее и полное тайн. Новые только тележки, сломанные тележки, служившие археологам для возу земли и брошенные ими за непригодностью. Из двух таких тележек я сооружаю себе стол, поставив их одна на другую. На третью сажусь сам, как на стул. Ну вот, я наконец устроился и пишу. Постепенно я всецело погружаюсь в то, что пишу.

Огромный коридор, пустой и жутковатый. Каменные столы, каменные скамьи. Их много. А я сижу на железной тележке, сломанной тележке, которую смастерили с полгода назад, и пишу. Эта тележка для меня удобнее настоящего, каменного стола и скамьи, вероятно, потому, что мы с ней — из одной эпохи, мы — современники.

1957

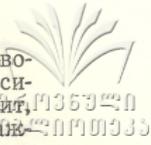
## Батарека Цинчараули

Мало на земле уголков, таких гористых, как Хевсуретия. В Тушетии, в Хевии да и в Сванетии кое-где попадаются равнинные местности — вдоль ущелий и подножий горных кряжей, — и только этот уголок Грузии боги бросили на произвол стихии скал и утесов.

Оторванные от мира долин, жили хевсуры в теснинах Арагви, разделенные этой рекой на общины Барисахо и Бацалиго — по одну сторону и Архоти и Шатили — по другую. Сообщение между ними затруднено было и летом. Только храмовые праздники или иные народные торжества по три-четыре раза в год собирали воедино жителей ущелий. А быстрее всего собирал их боевой клич, призывавший на войну против об-

щего врага. Все свободное от ратных дел время уходило у хевсура на борьбу с суровой природой и с собственными необузданными страстями, малейшее преступное проявление которых предусматривалось и каралось законом «выкупа скотом». Целые кодексы были выработаны об этом выкупе за кровь — без крови. Его платили из поколения в поколение, вплоть до седьмого-восьмого колена, на условиях, совершенно разорительных и унижительных для семьи убитого — в пользу семьи убитого. Словами странными, проистекшими из глубин подлинно хевсурского характера, завершается этот неписанный свод законов: «Удовлетворение всем этим (имеется в виду выкуп скотом вместо выкупа





кровью) да будет посрамлением извечных адатов хевсуров» (1..). Мужичи, крепости на рубахах носящие<sup>1</sup>, не посрамят себя, не покроют позором имя свое, — потому здесь одно убийство влекло за собой истребление целых родов.

Здесь поэзия властвует над прозой. Не случайно хевсурский фольклор, чеканный хевсурский стих и по форме, и по содержанию восходит порой к высотам классической поэзии. И каждый хевсур — поэт. А лучшее создаст тот из них, кто, одержимый страстью к недостижимому, страдал больше и достойнее других.

Сам Шатили, легендарный ныне Шатили, оказался лучшим стихом Хевсуретии.

Когда жили люди, описанные в этом рассказе, было в Шатили сто двадцать башен и того больше семей. Жизнью, состоявшей из долгих войн и краткого мира между ними, жил этот город-государство, приютившийся на самой окраине Грузии. Увидя сейчас полуразрушенный Шатили, невольно подумаешь, что греческие боги, покинув Олимп, переселились сюда, в этот полис, который никому уже не нужен и всеми забыт, на который никто уже не посягнет и который сам никогда не напомнит о себе миру.

Шатильцы не скупятся на проявление своего нрава: они угоняют скот, затевают распри, обильно проливают кровь за кровь, дерутся, братаются с кистинами, с хевсурами — себя, в отличие от прочих своих единоплеменников, они величают «шатилиони». Все это начинается весной, с таянием снегов. И целое лето, пока осень не закроет дорог, гуляют шатилиони, наводят порядок в делах кровной мести — делах нескончаемых — и внезапно, с первым же снегопадом запираются в своих домах-крепостях.

Трудно привыкают мужчины-шатильцы к зимнему сидению дома. Они гонят водку, варят пиво, ходят друг к другу в гости, кутят изо дня в день, обсуждая дела кровной мести и... изнемогая от вынужденного бездействия.

...Долгими зимними ночами стонут медноволосые хевсурки. Лениво ползет в небо дым...

Все вокруг белым-бело. Белыми стали крыши башен. Только каменные стены домов, соединяющихся друг с другом каменными лестницами и плоскими кровлями, чернеют — воинственные, неприступные, в неповторимой гармонии вросшие в голые скалы.

В этом скальном лабиринте живет Батарека Чинчараули.

В коридорах его башни — гулкая пустота.

Дни напролет лежит Батарека со своей женой на овечьих шкурах либо сидит, поджав ноги, молча, хмуро, сидит, потягивает крепкий первач. Не однажды приходили к нему посланные от однофамильцев — звали разделить трапезу, потолковать о делах кровной мести (все об этих делах!). «Женщину пошло с вами лясы точить», — только и пробурчит Батарека вслед уходящему ни с чем посланному и лежит, лежит, лежит... Лежит — а в Панкиси должны ему кровь, а в Омало украли у него седло с серебряной насечкой, и в десять раз больше того сам он натворил, бесшабашный кутила, драчун, и нет ему покоя в мирном покое своего дома.

А зима-то — такая зима! То и дело срываются с вершин лавины. Снегу навалило — до соседней деревни не добраться. Горные туры спускаются со своих круч и открыто, нагло разгуливают в окрестностях.

Тесно, тошно Батареке дома. Помрачнел он, отпустил бороду.

...Не видать нежных фиалок на лесных опушках, не алеют по склонам дикие ягоды, — все укрывает снег. И падают, падают мягкие хлопья...

Укутанная в мохнатые шкуры, сидит в верхней комнатке башни девочка Мзия — тринадцатилетняя дочь Батареки. Днем, когда белые кружат снежинки, ночью, когда и снег становится черным, смотрит Мзия в узкое оконце башни. Тонкими точеными пальцами потирает бледные щеки. Часами расчесывает длинные густые волосы. И лучатся, горят удивленные глаза ее — огромные, в пол-лица. Вся она — в глазах этих. Где-то в потаенной глубине существа ощущает Мзия свое совершенство...

Все вокруг Мзии дышит любовью, все и вся любят ее, Мзию. Каменной кладки глухая стена — угрюмо, тайно; тяжелый, железом окованный ларь — как торгаш: улыбается коварно, заманчиво, обещая несметные богатства; новые, еще не познавшие крови мечи — страстно, смело; они сражаются друг с другом ожесточенно, разбрызгивая искры. Неизбывную любовь сулит им сердце девы.

Овчина, в которую она закуталась, ласкает ее стройный стан. Зарываясь лицом в шерсть, одним дыханием, без слов, поверяет ей Мзия свои мечты. С головой укрывается она овчиной, и в теплой темноте видится ей целый мир: отважные юноши, высокие башни, овцы, кровавые поединки — и сама она, Мзия... У нее, как у всякой девочки-хевсурки, четыре имени. Мзия — самое любимое, потом — Тамар и еще два, Сандуа и Буба, — эти ненавистны ей. Говорят они — смутно, неясно — об уготованной ей нелегкой участи жены хевсура.

<sup>1</sup> Крестами расшита одежда хевсуров. (К. К.).



Непостижимо, откуда взялась в хевсурской башне такая девушка! Она не умеет трудиться — не умеет ни сеять, ни жать, ни замешивать тесто, ни мести каменные полы. Погруженная в самое себя, ходит она по пустым лестницам и переходам дома. Она так опьянена владеющим ею чувством, что и не знает, что оно такое, как назвать его, каким словом. Она всходит по ступеням — и мнитса ей: вон та, нижняя ступень, лобит ее больше, чем эта, на которой она стоит. Робка, как осиротевший оленок, пленительна и беспомощна ее любовь, светом проливающаяся вокруг.

И сидит она, эта дева-аристократка, которую природа сотворила здесь, в Шатили, сидит, укутанная в овечьи шкуры, и ждет... Большие глаза в окружении темных стрел-ресниц не оставляют ни одного предмета, не одарив его своей любовью.

Почти не знает Мзия жителей села, не знает, что за люди ее отец, мать. Все окружающее воспринимает она в какой-то удивительной гармонии. Когда заговаривают с ней, она отвечает так просто и охотно, как проводит дни свои в одиночестве на верхушке башни. В ее мире все естественно, все гармонично и неделимо. Ее сознание не выделяет ничего из этого единства. Неделима и та легенда, с которой засыпает она, которая снится ей, спящей, и не снится — видится.

Это легенда о юноше-охотнике, который прогневил бога охоты и лесов Очопинтрэ. Жестоко наказал Очопинтрэ юношу: все звери стали недосыгаемыми для его стрел. А он ничего не умел — только охотиться умел он. Бродит он от скалы к скале, от поляны к поляне, высматривает серну, сайгу, тура. И едва завидит их издали, едва натанет тетиву — вмиг исчезает зверь из глаз. И снова плукает охотник неверными горными тропами, от утра до вечера, в стужу и зной, ищет — и не находит. Исхудал он, истаял весь. И стал каяться, просить-вымаливать прощение у Очопинтрэ. Сжалился бог, простил его, потому что ведь ничего другого юноша делать не умел. И тут стала идти к нему добыча, стал он удачлив. Исхудавшее тело окрепло, налилось былой силой, и открылась, запела радостно душа.

А Очопинтрэ простил его, но такой положил с ним завет: «не убивай оленя, не то покараю тебя страшной карой». Досада закаралась в сердце охотника, занозой впиалась. Помнил он о завете, преследуя горного тура, стреляя в сайгу, выслеживая серну. Крепко помнил. И велзо ему: добыча всегда бывала богатой. С каждой охоты приносил он часть в жертву Очопинтрэ, поминая при этом завет. И расступались перед ним горные теснины, стороной обходили его

лавины, реки суживались, и он легко переходил с берега на берег по их зыбким телам. Не истощался запас стрел в его колчане, и не остывал охотничий жар в крови, и не знала устали меткая рука. И ни на миг не забывал охотник про завет Очопинтрэ.

...Солнце покидало ущелье. Сумрак крался за ним по пятам, поднимаясь из мрачных глубин. Сумрак незаметно окутывал тушу горного тура. Угли дотлевали вблизи — угасал жертвенный костер.

Солнце уходило за горы — алые лучи легли на вершины и ослепили охотника дивной своей красотой.

...На излом утеса выбежал олень и встал недвижно, закинув ветвисторогую голову.

Охотник вскочил в седло.

Всю ночь гонялся юноша за оленем. И убил его — на рассвете. На зазвеневшую тетиву одновременно упали взор Очопинтрэ и первый солнечный луч.

Лук выпал из рук клятвоступника. Правая рука, согнутая в локте, онемела, одеревенела. Жилы выскочили из нее и протянулись, подобно струнам — натянулись от кисти к плечу. Туловище приросло к седлу, — чтобы конь вечно мчал его по следу, вечно носил за зверем — недоступным, недостигаемым, манящим. Левая рука двигалась свободно — ею ударял он по струнам-жилам правой руки, и звучали они скорбно, и пел юноша, выпевал горе свое и печаль. Ведь он никогда не умел ничего — только охотиться и страдать...

...Трудно привыкал Батарека к зимнему затворничеству. Занемогла жена, пришлось ему самому хозяйничать. Он готовил обед, прибирал в доме. Две овчины выделал, смазал жиром мечи. Потом в сундук заглянул, вытащил аккуратно уложенные расшитые яркими нитками, бусами рубахи, развернул, перетрусил каждую, уложил обратно. Починил прохудившуюся обувь — бандули. Со всем пылом отдался Батарека домашним делам всяким и обмяк как-то — устал, что ли, с непривычки — и отогрелся душой в хлопотах этих, и понравилось ему домовничать. Ни одного уголка не оставил — до всего добрался, все переворошил.

На третий день поднялся Батарека наверх, в башню.

...Паутина свисала с потолка. Пристально, сердито смотрел Батарека на тончайшие сети, которые задел головой. Ступил шаг — и споткнулся о разбросанные на полу какие-то предметы. И — увидел свою дочь.

Нежный в глубине души, грубым и суровым был он в обращении. В мрачном раздражении усталился он на дочь, как, бывало, во время стрижки овец — на нерадивого помощника.



Мзия увидела отца, и в сказочном мире ее души засиял еще один луч, еще ярче засветились глаза ее. А у Батареки потеплело на сердце, и смягчилось оно, и, стремясь скрыть это, еще суровее посмотрел он на дочь. И внезапно, вместе со слабостью этой нестойкой, нахлынула на него досада, скопившаяся за время домоседства, досада, озлобление, гнев. И он вскричал в полный голос:

— Отчего ты не помогаешь матери, негодная?!

Не переставая улыбаться, Мзия подошла к отцу. Совсем близко она подошла, но не сумела приласкаться и не выразила ни смущения, ни раскаяния, — настолько правой чувствовала она себя, настолько зряшным, пустым было обвинение. Батарека вдруг понял, что дочь взяла над ним верх — дома и впрямь делать было нечего. А он, Батарека, увлекся какими-то бабьими делами, этим дурацким хозяйством! И устыдившись самого себя, он расвирепел еще более.

— Дрянная девчонка! — взревел он.

— А-а?..

— На что ты годна, киснешь здесь, сложа руки!..

— Ах, отец!..

— Тысяча чертей, бездельница!!!  
Не хотелось Мзии слышать такие слова, и отвела она взор, отвернула окну лицо свое.

Батарека увидел, что дочь отвернула лицо, и вольнее почувствовал себя, сумел, наконец, выплеснуть весь гнев, душивший его. И еще — возникло в нем смутное сознание вины своей в чем-то таком, в чем сам-то он и не был виноват, вины, которую и искупить ему не было дано. Все его существо восстало против чего-то, ему непонятного, и рука его с размаху нанесла дочери удар по лицу.

С ворчанием, с грохотом, тяжело сходил он вниз.

...Сам он не осмелился более подняться туда.

На третий день послал к дочери больную мать — отправил еду.

...Посреди комнаты, на цепи, на очажной цепи повесилась Мзия, дочь Батареки Чинчараули.

1959

Перевод Камиллы КОРИНТЭЛИ



Федор БУЛАВИНЦЕВ,  
полковник

## П а м я т н и к

Посвящается годовщине освобождения Ленинграда от блокады

У самой дороги, дороги на Пушкин,  
Стоят величаво суровые пушки.  
Стоят молчаливо. Не слышно раскатов.  
Играют у пушек спокойно ребята...  
Сегодня, в день славной, великой

Победы,

Народ вспоминает военные беды.  
И слезы, и голод. Погибших друзей.  
И ужас в застывших глазах матерей.  
Тех бед и страданий не знают

мальчишки,

Отцы о войне им читают по книжкам.  
И только солдаты вчерашние — деды

Поведают внукам в день славной  
Победы,  
Что пушки, которые внукам так любы,  
Фашистских крушили убийц-душегубов,  
Что днем и ночью, в зной и холод,  
Когда пришел в наш город голод  
И лютовала здесь блокада —  
Врагов разили их снаряды...  
Так пусть же играют на пушках

ребята.

Наш труд и покой охраняют солдаты.  
Пусть мирными будет Отчизны рассветы,  
Пусть в дружбе живут все народы  
планеты!





●  
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ  
●

*«В человеке все должно быть прекрасно...»*  
Добрая старая сказка.

Он проснулся и сразу ощутил себя тем, что он есть.

Однако так было не потому, что профессор филологии Глюк, общепризнанный авторитет в части изучения древних языков (середина XX века), принадлежал к числу людей действия — собранных, волевых, в любой момент готовых распрямиться, как пружина, чтобы с веселым безрассудством завести старую пиратскую песенку: «Мы — спина к спине — у мачты, против тысячи — вдвоем!»

Увы, пробуждение профессора Глюка (33 лет, среднего роста, отнюдь не склонный к ранней полноте и облысению, приятный в обращении, не лишенный ряда побочных, кроме основного, талантов) было таким, каким оно было, в силу совершенно иных причин...

Итак, он проснулся и сразу ощутил себя тем, что он есть. Вместе с тем профессор ощутил смутное чувство тревоги, которая заставила его пролежать некоторое время с закрытыми глазами: по опыту научной работы он знал, что так легче собраться с мыслями.

Нет ученого без воображения, а Глюк считался — и вполне заслуженно — большим ученым. Поэтому он без напряжения представил себе свое уютное жилище. Повисшая в тщательно отрегулированном антигравитационном поле небольшая сферическая капсула, надежно защищенная от влияния каких бы то ни было внешних факторов. Если же потребует характер вдохновения, профессор может вызвать простым нажатием клавиши и теплое солнечное утро за окном, и моросящий осенний дождь, и мерцающую мириадами звезд таинственную тишину глубокой ночи... Тысячи кристаллов, каждый из которых хранит сотни томов разнообразнейшей литературы, — домашняя библиотека. Видеокоммуникатор, позволяющий за несколько секунд создать безупречную иллюзию непосредственного общения с любым абонентом, живущим в любой точке планеты... Словом, полнейший Комфорт с самой большой буквы, о котором могли только мечтать люди эпохи, столь хорошо знакомой Глюку благодаря его профессии. Ведь знание языков предполагает и доскональное знакомство с соответствующим периодом истории. Во всяком случае — для серьезного и добросовестного исследователя, а профессор Глюк, повторяем, был исследователем именно такого склада.

...По-прежнему не раскрывая глаз, он слегка улыбнулся, с удовольствием предвкушая, как, повинувшись его волевому усилению, включится озоновый душ — великолепный импульс, ласково и настойчиво, но без малейшего намека на насилие, побуждающий человека стряхнуть с себя остатки сна и с бодрой радостью в душе и теле включиться в повседневную реальность, зовя к работе и жизни, которая есть не что иное, как целеустремленный и в то же время свободный творческий поиск.

Незаметно для себя погрузившись в этот профессионально-привычный процесс осмысления и аналитического препарирования обыденных вещей и



влений, Глюк совсем было забыл о странном чувстве тревоги, сопутствовавшем пробуждению. Он окончательно собрался адресовать обычное волевое «сезам» озоновому душу — и вдруг тревожное чувство с новой силой охватило все его существо.

Все более поддаваясь недоумению (но не страху, ибо, как уже поняли, конечно, читатель, не могло быть и речи о страхе в этом предельно благоустроенном и безопасном мире), профессор зажмурился крепко-крепко, словно ребенок далеких времен, проснувшийся посреди ночи в темной комнате. Отточенный мозг исследователя заработал быстро и лихорадочно. **Что это было? В чем причина тревоги? Что — не так?**

С крайней на себя досадой Глюк обнаружил эту лихорадочность обычно безукоризненно четкого мышления. Поиск происхождения странного чувства возмутительнейшим образом переплетались с мыслью о проблеме, над которой он бесплодно бился уже больше двух недель. Глюк не мог ни в дебрях своей кристаллотеки, ни в тайниках наследственной памяти (если такая существует), ни в причудливых новообразованиях логических умозаключений — отыскать некий языковой варваризм, относящийся к эпохе, которую он изучал. Между тем у него не оставалось никаких сомнений, что этот варваризм должен был существовать... В этом месте тугой запутанный клубок его мучительных размышлений распался. Его разорвал настойчивый — похоже, кулакам помогали ноги — стук в дверь, а также грубый и силовый (по всей вероятности, не от простуды) голос:

— Эй, ты, профессор кислых щей! А ну открывай... Открывай, тебе говорят!

Глюк не успел удивиться стуку, хотя в сферической капсуле не было никаких дверей в обычном смысле этого слова. Верный профессиональной одержимости, он только с бескорыстным восторгом отметил про себя, что впервые слышит выражение, содержащее в себе термин «кислых щей» — идиому, выкопанную им два года назад в одной из полуистлевших книг. Однако новая атака на дверь вернула профессора к действительности.

Боже мой, подумал он, где я и... и что это?!

Глюк даже не заметил, что его реакция на происходящее выразилась в одном из древнейших оборотов речи. Фанатическая преданность профессии не раз находила именно такой выход: забываясь, он употреблял целые фразы из языков, которые изучал и тогда друзья мягко и доброжелательно над ним подтрунивали.

Он открыл глаза, и события стали разворачиваться с ошеломляющей быстротой. Это коловращение совершенно неожиданных, более того — невероятных впечатлений, разумеется, не позволило профессору Глюку сориентироваться в деталях внезапно окружившего его мира. Ясно было одно: он проснулся не там, где заснул накануне, утомленный чрезвычайно сложной и не менее увлекательной работой. Точнее, он не смог бы определить наименования, а подчас и назначения предметов, загромождавших его жилище. Но хватило нескольких секунд, чтобы профессор успел осознать: вчера всех этих вещей не было и в помине и само жилище тоже было совсем иным.

Вместо ласкающих глаз округлых очертаний его в меру просторной холостяцкой капсулы-квартирки взгляд больно упирался в безобразные прямые стены, сходящиеся под прямым углом. В единственное квадратное окно вривался нестерпимый свет громадной электрической лампы, вывешенной снаружи не известно кем, однако с одной, несомненно, целью: не давать человеку спокойно спать. Глюк невольно застонал. Он был близок к отчаянию — состояние, до того известное ему только в теоретическом плане, да и то лишь в силу того, что профессор изучал древние языки и, следовательно, древнюю историю.

Глюк застонал. Незамедлительно в тишине, наступления которой он не заметил, раздался тот же силовый бас. Теперь в нем были нотки торжествующей мстительности и неприкрытого злорадства:

— Ага, зашевелился, очкарик! Ну (последовавшие за этим три слова остались непонятными даже прославленному лингвисту) ...погоди! Я тебе (те же три слова, только в другой вариации) покажу, как соседей не уважать!.. Открывай, идиол, а то дверь выломаем!

Дальнейшее напоминало кошмар (кстати, последнее понятие имело для профессора также чисто теоретический смысл. Кошмар начался с того, что, поспешно опустив ноги на пол, Глюк оказался по щиколотку в ледяной воде. От неожиданности и испуга он коротко взвизгнул и, глубоко шокированный собственным поведением, мгновенно зажал себе рот ладонью. В его мире никто никогда не визжал, даже от боли, потому что боль, как непременная составная часть человеческого существования, давно ушла из жизни.



Затем профессор прошлепал босыми ногами к истерично вздрагивающей от ударов двери, сообразил, в чем состоит назначение запиравшей ее щеколды, и оказался лицом к лицу с коренастым дегинной в майке, который, стоя размахивая здоровенными волосатыми кулаками. За его широкой спиной толпились: растрепанная пожилая женщина в нежелаящем запахнуть красном халате, лысый щуплый старик с острым носом (на кончике — прозрачная капля), радостно возбужденный в предвкушении пока что неведомых, но безусловно шумных событий лохматый подросток. За ними — еще двое или трое, их Глюк рассмотреть не успел, так как опешивший в первую минуту детина в майке продвинулся на шаг вперед и с нехорошей ласковостью в голосе спросил:

— Это что же получается, гражданин... очкарик? Опять воду в ванной закрыть забыли?..

За ничтожно малый промежуток времени профессор успел подумать: «Так вот как они выглядели, люди той эпохи...» (Он уже не сомневался, что непонятно каким образом попал в далекое прошлое). Это было последней попыткой Глюка воспринимать окружающее в плане его научного осмысления, ибо в то же мгновение суровая действительность заявила о себе с бесцеремонностью автомобильного клаксона.

— Вот, значит, как выходит, — с неумолимой последовательностью продолжал темпераментный оппонент профессора. — Мы, мол, книжками занимаемся... в этих... эфиреях витаем, а...

— В эмпиреях, — машинально поправил Глюк. При всей своей врожденной застенчивости он не мог мириться со столь варварским отношением к грамматике.

— Вот-вот! — обрадовался волосатый. — Поправляй нас, учи... А вода пусть течет, да? Пусть соседи заливают? Им, бедолагам неученым, что в лоб, что по лбу... У-у, очкарик несчастный!

— Так его, так, милый! — эхом отозвалась женщина в нежелаящем запахиваться халате. — От них, очкастых, все зло...

— Но у меня нет очков, — попробовал возмутиться Глюк, невольно начинавший уже чувствовать себя полноценным участником конфликта, готовым до последней капли крови отстаивать свою позицию. — У меня — контактные линзы! Кроме того, не знаю я никакой ванной и знать не хочу. У меня — озоновый душ, так что...

— Че-го?! — изумился оппонент в майке. — Линзы? Озоновые? Душ? Ты чего это заливаешь... контактный, а?

Лысый старичок пожертвовал своей каплей — она растворилась в озере медленно опадавшей воды, как слезинка в море общечеловеческих горестей, — боднул головой воздух и бодро вступил в разговор.

— Нехорошо, — проникновенно сказал он. — Нехорошо, гражданин Глюкин. А ведь высокое звание профессора носите — профессора, выучившегося на наши кровные, народные денежки, и, следовательно, призваны нам, то есть трудовому народу, служить! А кран-то, кран не закрываете.

— Тоже мне — «трудовой народ» нашелся! — на помощь вконец отчаявшемуся Глюку неожиданно пришел лохматый подросток, который до сих пор со свойственной его возрасту любознательностью молча и жадно усваивал новые сведения о жизни, искренне дивясь сложности человеческих взаимоотношений. — Сам-то всю жизнь махинациями только и занимался. Дачу построил? Построил. Инвалидный «Запорожец» завел? Завел! А по какому праву? Какой у тебя ноги-руки не хватает? Тоже мне — инвалид войны нашелся!.. Заглянуть бы еще в твою сберкнижку...

...Не будем приводить слов владельца «инвалидного» «Запорожца». Среди читателей, несомненно, найдется немало людей, которые не смогут воспринять многие из этих слов с невозмутимостью лингвиста, удостоенного профессорского звания в тридцать три года. Поэтому перейдем прямо к развязке.

Наступил, наконец, момент, когда нервы профессора Глюка не выдержали. Ведь ему даже не снилось (повторяем: в том, его мире давным-давно не было место кошмарам — ни во сне, ни наяву), что люди могут мыслить и вести себя подобным образом. Глюк крепко зажмурился, надеясь прогнать наваждение. Не помогло. Тогда, повинувшись внезапному озарению, вырвавшегося из архивов памяти одно из бесчисленных известных ему понятий древней лексики, он закричал громовым голосом: — Ми-ли-ци-я!!!

Остальное Глюк помнит очень смутно. Мгновенно словно стальной щит отрезал его от окружающего, умер режущий слух гвалт коллективной перебранки. Исчезла заливавшая пол вода. Смягчаясь, стали расплываться резкие тени от яркого фонаря за окном. Расплывались лица, только что искаженные гримасой злобы, мстительности, мелочной жалкой ненависти и тупой затаенной хитрости... Глюк успел расслышать несколько слов, которые сказал де-



тина в майке, — сказал уже не угрожающе, а просительно, по-прежнему слабо, но теперь искательно, даже заискивающе... И все исчезло.

Профессор Глюк проснулся в своей в меру просторной холостяцкой сферической капсуле, улыбнулся мягкой полутьме, включил озоновый душ и наскоро позавтракав, нажал на кнопку вызова аэролета. Он спешил к любимой работе. Однако прежде он направил аппарат к другой — не рабочей — сфере, тоже плавающей в антигравитационном поле. Профессор спешил перевернуть новую страницу своей новой книги.

— Вот и все, — сказал Психоконструктор, включая сложную аппаратуру, описание которой было бы чрезвычайно интересным, однако привести его, к сожалению, невозможно, так как оно займет слишком много места. — Все! — повторил он устало и удовлетворенно. — Последний штрих нанесен, и огненные профессора Глюка больше не будет мучить то, что, по его же словам, древние называли «комплексом неполноценности».

Юный Ассистент спросил с прямотой, ставшей в те времена непреложным законом поведения: — Но была ли необходимость создавать для профессора столь ужасные условия?

— Конечно! Только так закаляется сталь!

— Простите, Конструктор, а в чем, собственно, заключался тот изъян, та, как вы выразились, «душевная трещинка», от которой Совет решил избавиться профессора?

Психоконструктор ответил серьезно: — Ничего особенного... я хотел сказать — ничего сложного. Однако эта трещинка могла весьма плачевно отразиться на личной судьбе незаурядного, очень нужного Обществу человека.

— А точнее?

— Он был слишком, до болезненности, застенчив. Застенчив настолько, что даже не мог объясниться с девушкой, которую любил уже более четырех лет. Не знаю, в чем причина... Неожиданный всплеск отягощенной в неизмеримо далеком прошлом наследственности? Или следствие того, что слишком уж совершенен наш нынешний мир? Не знаю... Но, во всяком случае, теперь все позади. «Трещинка» ликвидирована.

— И все-таки, Конструктор... Вы уверены в правильности выбора? Неужели нельзя было ограничиться инсценировкой нападения на профессора разбойников с большой дороги или, скажем, «забросить» его на необитаемый остров, кишащий ядовитыми змеями и хищными зверями?!

— Я уже сказал, юноша... насчет стали. У Глюка было заболевание достаточно серьезное. Соответственно требовались и наиболее радикальные из всех известных нам методы лечения... Ну, хватит об этом. Мне пришла в голову довольно забавная мысль. Не кажется ли вам, что в основе ложной тревоги древних социологов-прогнозистов по поводу якобы неизбежного в будущем — то есть в нашем с вами настоящем — резкого возрастания так называемой некоммуникабельности людей является в корне ошибочный тезис: сверхгорода с многоэтажными домами и изолированными квартирами в них ведут к разобщенности, к самозамыканию в тесном семейном кругу? Как видите, получилось наоборот — индивидуальные капсулы-жилища действительно дали возможность каждому создать свой собственный мир. И это принесло людям подлинную свободу — бытовую, духовную, физическую... Свободу передвижения, наконец. А ведь именно отсутствие или недостаток всех этих факторов и были когда-то главным препятствием на пути установления контактов между людьми!

...Две сферические капсулы, слившиеся в одну, словно состыковавшиеся космические корабли, свободно парили в тщательно отрегулированном антигравитационном поле.

— Знаешь, — доверительно шепнул профессор Глюк золотоволосой девушке, стоявшей рядом с ним у огромного сферического окна, и крепче обнял ее за плечи. — Знаешь, я все-таки выяснил точное звучание того лексического варваризма, который ранее открыл теоретически. Помнишь?

— Угу, — ответила золотоволосая, без особого, впрочем, интереса. — И как же он звучит?

— Когда я крикнул: «Милиция!» — все они сначала замолчали, а потом детина в майке сказал: «Слушай, друг, давай лучше сообразим на троих и замнем... для ясности. Идет, а?»

— Идет... — эхом отозвалась золотоволосая, но было видно, что она думает о другом.





შენგივ გაჩეკელიძე

# АВТОЗАВОДЦЫ

О черк

В НИЗУ неумолчно гремел Ингури. Голубая вода прыгала с камня на камень, шум ее менял тона с каждым поворотом горной дороги. Пахло смолой, дымом далеких костров. Краснел закат. И птицы смолкли так внезапно, словно за ними захлопнулась дверь.

Сердце замирает, когда смотришь отсюда. Непостижимо, как машины могут проникнуть в этот заоблачный мир. И кажется, нет ничего красивее снежных хребтов Сванетии...

Далеко позади — последний виток дороги над Риони. А здесь только просека упирается в небо да ревут, бусуя, мощные «Колхиды» — грузовики проходят испытания.

Водитель одной из них, Борис Вашакидзе, еле удерживает своего «железного коня». Невозможно сказать, в какую долю секунды он почувствовал, как под колесами его многотонной машины поползла земля... Еще миг, и «Колхида» рухнет в пропасть. Водитель другой машины, Тваладзе, вовремя выскочил из кабины, прикрепил трос к грузовику Бориса и, отведя назад свой тягач, поставил его на тормоза.

— Держись, — крикнул он, — бегу за помощью!

Легко сказать — держись... Один только трос не удержит повисшую над пропастью тяжелую машину. Вашакидзе знал: если он выключит мотор и выскочит из кабины — оба грузовика рухнут вниз. И он остался за рулем — остался, рискуя жизнью, ежесекундно ощущая, как натягивается и дрожит трос, как осыпаются камни из-под колес.

Уже когда Борис Вашакидзе, водитель-испытатель Кутаисского автозавода, вывел обе машины на твердый грунт, мы подошли к нему.

...Это его, Вашакидзе, спускали на трубоукладчике, на тросе в Дарьяльском ущелье под уклон в сорок пять градусов. Это он и его бригада прошли там самые трудные участки. Сейчас не понять, молод Вашакидзе или стар. какой он масти. Ресницы и брови покрыты пылью, и волосы серые, и лицо землистое, серое... Завтра он окажется черноволосым и гораздо моложе, чем выглядит сейчас, и на лацкане его парадного пиджака будут сверкать орден Ленина и Золотая Звезда Героя Социалистического Труда...

Наши глаза встретились. Борис не скрывал пережитого страха. Только улыбнулся смущенно и растерянно. — вот ведь как бывает: тут и на машину надейся — авось не перевернется прицеп, и сам не тормозни невзначай при скольжении, и, упаси бог, не поворачивай поперек склона — тогда уж беды не миновать. Вашакидзе долго смотрел на ребристый черный след, оставленный на склоне колесами, и взгляд у него ясел понемногу.

— И часто у вас бывает такое? — спросил я.

— Случается... Дорога новая, вчера дождик прошел... Вот и заскользили колеса...





Он никак не мог оторвать взгляда от двух черных борозд. Потом, видимо, до него дошел смысл моего вопроса, он встрепенулся:

— Нет, конечно, риск нашему брату противопоказан!

Испытатель призван проверять на деле результаты научного поиска. Вашакидзе испытывал новую модель «Колхиды».

Водители обычно самые осведомленные люди. От них часто узнаешь то, чего не вычитаешь ни в одной книге, ибо сама их работа дает огромный радиус наблюдений. К тому же у многих водителей есть еще то, что в авиации именуется большим объемом внимания. Им как раз и обладает Вашакидзе. Может быть, именно потребность как можно больше видеть, знать, действовать держит его у баранки.

...Мы мчались всю ночь, и Борис, пристально глядя на дорогу, неторопливо рассказывал:

— Одновременно с испытаниями модели мы работаем над дальнейшим усовершенствованием машины. Это будет «КАЗ-608М», с отдельной системой тормозов. Разрабатывается полупроводниковая система аварийной сигнализации. Будет у кутаисского автомобиля и электрический спидометр на транзисторах, и многое другое... Все эти изменения и нововведения полностью отвечают требованиям не только ГОСТов, но и стандартов СЭВ и ООН. А это значит, что можно будет подавать заявку на присвоение кутаисской машине Знака качества.

Далеко ушло то время, когда можно было назвать имена единоличных авторов моделей: Форд, Бенц, Даймлер. Сложность техники, современные требования привели к тому, что сегодняшний автомобиль — это творение рук и ума огромного коллектива, сплав конструкторской мысли множества людей.

Тускло мерцали панели приборов. На спидометре — под сто. А когда-то здесь знали лишь одну скорость — осторожно ступающего над пропастью ослика. Тогда карниз, вырубленный над ущельем, казался фантастической победой человека над стихией.

После, вспоминая ту дорогу, я раздумывал: мог ли быть туман белый? Бывают ли белые туманы ночью? Может, я просто выдумал, что он белый? Не знаю. В ночную пору мне больше не довелось ездить с такой скоростью в таком густом тумане.

Утром горы обрушили на нас каскады таких ярких впечатлений, которые невозможно описать — их надо пережить самому.

До сочных зеленых лугов медленно и торжественно, подобно облакам на весеннем небе, проплывали отары эвец. И пастухи пристально всматривались в несущуюся навстречу колонну наших автомобилей.

Люди, придумавшие покой, не знают счастья дороги. Только, быть может, порой их тревожит смутное сожаление о чем-то безвозвратно потерянном, но они не знают — о чем...

Мы с Вашакидзе проехали не одну тысячу километров. И всегда, взбираясь на Крестовый или Рыкотский перевалы, любуюсь сказочными красотами Рача-Лечхуми, кружа по серпантинам Кванса или по заоблачным трассам Джавахетии, всегда с теплотой думали о творцах наших грузинских автомашин.

Когда тает предрассветная фиолетовая дымка и облака становятся густо-альбыми, а город подставляет грудь свежему утреннему ветру, к заводу торопятся люди. Автозаводцы... По двое, по трое, группами и в одиночку идут очи. Молодые и пожилые, в комбинезонах и ковбойках, в спецовках и пиджаках, но все полные сознания своей силы, значимости своего труда, шагают рабочие к громадам цехов. Машины, построенные ими, помчатся по магистралям Сибири и Казахстана, Дальнего Востока и Крайнего Севера... Вдохновенный труд и мастерство, воплощенные в металл, скорость, силу...

В каком только уголке нашей Родины не встретишь детище грузинских автостроителей — автомобиль «Колхиду»? Куда бы ни попала «Колхида», она везде заслуживает одобрение. Об этом убедительно говорят строки благодарности, адресованные автозаводцам.


«Директору Кутаисского автомобильного завода, главному конструктору завода, секретарю партийного комитета завода, председателю завкома.

Коллектив автоколонны № 2226 Харьковского облавтогостреста с благодарностью отмечает высокое качество выпускаемых вашим заводом автомобилей «Колхида». Желаем не успокаиваться на достигнутом и выпускать для нашей Родины все больше и больше комфортабельных, высокоскоростных, красивых «Колхид».

Таких писем множество. На конвертах штампы — Липецк, Полтава, Казань, Кривой Рог, Жданов. Всюду «трудятся» грузинские автомобили, всюду они нужны.

Есть такой старый, чуть-чуть сентиментальный, но удивительно хороший тост — за исполнение желаний. Сегодня Грузия, моя республика — цветущий





край, залитый ярким солнцем. Тучные зеленые долины с лиловыми силуэтами горных краяхей вдали, стремительные воды Куры, Риони, Ингури, несущие людем свет и тепло... Бесчисленные дороги, вьющиеся меж виноградников и садов... А по дорогам мчатся, сверкая свежей краской, новенькие автомобили с маркой «КАЗ». Это ли не свершение желаний лучших сынов грузинского народа!..

Летом памятного 1945 года на окраину Кутаиси прибыли грозные боевые машины — танки. Но нет, это были мирные танки — им предстояло участвовать в строительстве автомобильного завода. Танки были необходимы, потому что техническая вооруженность строителей оставляла желать много лучшего, да и вообще работать приходилось в очень сложных условиях: отсутствовали подвездные пути, не хватало питьевой воды, не было энергетических узлов на месте, недосыгаемой мечтой виделись строителям подъемные механизмы (их-то и должны были замечить танки). Страна восстанавливала разрушенное войной хозяйство, и ей так нужны были машины.

И вот в июле 1945-го врубился в неподатливый грунт первые кирпичи — совсем так, как во времена строительства первенца грузинской гидроэлектроэнергетики — ЗАГЭСа, как в годы сооружения первых промышленных объектов, когда оснащенность строителей механизмами была в буквальном смысле слова обратно пропорциональна их трудовому энтузиазму.

Время не стояло на месте. Стройка наращивала темпы, и вскоре предприятие начало давать первую свою продукцию: шестерни для Харьковского тракторного завода, отдельные детали автомобилей; кутаисцы освоили и литье. Все это пока что отсылалось на различные заводы страны.

Вместе с ростом завода улучшались культурно-бытовые условия, в которых жили люди, и это было не менее важно, чем успехи в развитии производства. Поэтому, когда в 1949 году вступила в строй первая очередь заводского водопровода, это событие отмечалось почти так же торжественно, как состоявшийся ровно через год выпуск первого мотора и первой коробки передач для будущего КАЗ-150.

Так же как с годами растет, крепнет и становится зрелым человек, становилась все мощней и совершенней «Колхида». Она продолжает свой путь по магистралям страны. И продолжает свой путь первенец грузинского автомобилестроения — КАЗ.

...Неопытный глаз не сразу увидит многочисленные заводские трубы, «замаскированные» в море зелени, затопившем городские кварталы Кутаиси. Сильный дым лениво стелется над ними редющей струей, незаметно растворяясь в небе. Кутаиси — поистине зеленый город. Акакий Церетели когда-то назвал его «городом роз и мая». Это название особенно соответствует сегодняшнему Кутаиси, столь чудесно преобразившемуся, выросшему, похорошевшему...

Кутаисский автомобильный завод уже имеет свою четвертьвековую историю, вписавшуюся в тысячелетнюю летопись древнего города. С огромным энтузиазмом трудятся кутаисские автозаводцы. Все понимают: от труда каждого зависит успешное претворение в жизнь решений партии. В Директивах XXIV съезда КПСС прямо записано: «Считать одной из важнейших задач дальнейшего развития автомобильного транспорта... Улучшить структуру парка грузовых автомобилей, повысить удельный вес автомобилей большой грузоподъемности и автомобильных поездов».

Первая «Колхида», которая сошла с главного конвейера Кутаисского автозавода, была подобна долгожданному ребенку, при чьем появлении на свет родители ликуют, возлагая на него большие надежды. Однако прошло время, и автомобилестроители пришли к выводу, что их детищу далеко до совершенства.

Самыми существенными минусами «Колхиды» были недостаточные ее надежность и долговечность, сложность технологии изготовления. И конструкторский коллектив предприятия поставил перед собой задачу — создать модель более надежную, более удобную в эксплуатации, более простую в изготовлении. Очень помогли ему в творческих поисках отзывы автохозяйств и, в первую очередь, москвичей.

— Предприятие — это прежде всего люди, — говорит главный конструктор завода С. Батишвили. — О тех, кто строил КАЗ и кто создает сейчас автомобили с маркой «Колхида», можно написать десятки книг. С огромным уважением и любовью говорят в нашем коллективе об инженере Семене Кирилловиче Одишария, под руководством которого началось строительство завода, о замечательном специалисте, первом главном конструкторе предприятия Анатолии Маврикиевиче Кригере, который в первые месяцы существования КАЗа лично подготовил большую группу инженеров, выиграв таким образом важнейшее сражение в битве с голодом на специалистов... А разве найдешь слова, чтобы рассказать о первом директоре завода, проработавшем на этом



посту до 1956 года, Борисе Самсоновиче Букня — великолепном руководителе, человеке необыкновенной чуткости, отзывчивости, такта в обращении с людьми.

Многие годы с честью свою трудовую вахту ветераны завода: наладчик Андро Кикинавелидзе, слесарь-ленальщик Буду Кетиладзе, токарь Гурам Гогиберашвили, кавалер ордена Ленина слесарь Яков Джгмадзе; директор завода Вахтанг Иванович Харебава; пришедший в коллектив сразу после войны рядовым инженером, ныне награжденный орденом Октябрьской Революции.

Имя наладчика цеха коробки скоростей, заслуженного рационализатора республики, Героя Социалистического Труда Иосифа Хазарадзе сегодня хорошо известно повсюду. Он впервые в стране создал комплексную бригаду рационализаторов и изобретателей, носящую почетное звание бригады коммунистического труда.

Хазарадзе — среднего роста, худощав. На смуглом лице — чуть смешливые глаза. Осматривая деталь, он словно прицеливается. Его движения неуловимы, изящны, он работает безупречно, без спешки, без торопливости. Труд его можно сравнить с мастерством скульптора. Та же точность, тот же непоколебимый глазомер, не позволяющий допустить ни малейшего отклонения...

Значение почина Хазарадзе в том, что если прежде каждый рационализатор работал в одиночку и годами добивался желаемого результата, то теперь все вопросы решаются коллективно, с участием специалистов разных отраслей. С замыслом каждого рационализатора знакомятся все члены бригады, которые вместе с ним участвуют в разумном решении выдвинутого предложения и его внедрении в производство. Давно уже известно: чем выше мастерство человека, тем больше хочется ему поделиться своими знаниями, тем больше ценит он достижения других и стремится их перенять. Талант Хазарадзе к слесарному делу, его прирожденная склонность к рационализации и изобретательству принесли ему широкую популярность далеко за пределами нашей республики.

И таких не один только Хазарадзе. Токари Р. Сохадзе и У. Гегучадзе, зуборезчик У. Каркашадзе, работающий, кстати, на заводе с 1947 года, и другие. Сколько их, талантливых, энергичных, всем сердцем преданных своему делу! Сколько их, родившихся, как говорят в Кутаиси, под доброй звездой...

Люди разных поколений работают в отделе главного конструктора. Здесь и те, кто был свидетелем и участником выпуска первой «Колхиды». В их числе и сам С. Баташвили, прошедший путь от рядового конструктора в бюро шасси до главного. Он умеет увлечь, зажечь энтузиазмом, организовать людей и всегда довести каждое дело до конца. Ветеранами завода являются В. Мукерии, прекрасный технолог и автомобилист, замечательные знатоки своего дела Н. Сандухадзе, А. Хучуа, К. Пиковский, И. Мошиашвили, К. Мессерер.

Когда на трассах вы увидите автомашины с маркой «Сделано в Кутаиси», вспомните об их творцах, чьи мысль, энергия и упорный труд вложены в эти автомобили.

Давно ли миновало время, когда в основе производства лежало этакое «разделение труда»: одни работали руками, другие — головой? Руки научились думать. Именно заводским рационализаторам принадлежала идея ежеквартального подведения итогов соци соревнования между бригадами — и это с невиданной силой стимулировало труд рабочих. Именно заводские рационализаторы — люди с «мыслящими» руками — подняли вопрос о необходимости повышения требований к тем, кто проходит обучение и переквалификацию в заводском отделе профтехобучения.

...В семье Вашакидзе Жужуна стала пятой по счету из тех, кто пришел работать на Кутаисский автомобильный завод имени Г. К. Орджоникидзе. Может быть, автомобилестроитель — фамильное призвание Вашакидзе?..

Жужуна рассказывает:

— Я завидовала тем, кто со школьной скамьи знал, кем хочет быть. Подруги уверяли, что у меня литературные способности. Сама я одно время мечтала пойти в артистки, потом, когда была пионервожатой, думала, что неплохо бы стать педагогом. Еще я хотела стать медиком. Потом вдруг заговорили о целине, и я решила пойти в агрономы... А в двух шагах от дома был родной, знакомый завод... С самого раннего детства дома я только и слышала разговоры об автогрячках, о сборке автомашин, еще совсем малышкой бегала к отцу в цех — завтрак носила, и все в этом цехе, где он трудился, мне было привычно...

И вот, окончив школу, Жужуна пошла на завод, отсюда — учиться в Грузинский политехнический институт имени В. И. Ленина; успешно окончив его, инженером вернулась опять же на свой завод.

Смуглые щеки Жужуны Вашакидзе рдеют румянцем, но под глазами лежат голубоватые круги усталости; устал и медлен жест руки, которую она подняла, чтобы поправить волосы... Слушаешь Жужуну и думаешь про себя: нет, дочь Минаго Вашакидзе, начав трудовую жизнь там, где начинал отец,





не сделала ошибки. Она любит завод, любит свою работу и не мыслит себе  
вне ее. И это — большое счастье.

А братья? Вот старший, Юза. Сначала работал на заводе, потом пошел в автомобильный техникум, окончив его, вернулся на завод, стал мастером. Много лестного услышите на заводе и о Зурабе Вашакидзе — свердловские цеха электромашин, и о Гигле и Валерии — токарях. Все они пошли в отца, Минаго Вашакидзе, который отдал заводу всю свою сознательную жизнь.

Биографии, личные жизни сотен людей органически переплелись, слились с историей Кутаисского автомобильного завода, который в этом отношении далеко не исключительное предприятие в нашей стране. Рука об руку, плечо к плечу они, эти люди, закладывали фундаменты первых цехов, первых жилых домов, сажали первые деревья, собирали первые автомобили с маркой «КАЗ». Сейчас те цеха выросли в завод-гигант, изготовляющий мощные автотягачи, дома объединились в большие кварталы, молодые посадки превратились в густые сады и парки.

На предприятии, по примеру Московского автомобильного завода имени Лихачева, внедрена балльная система оценки качества, согласно которой размер премии определяется в зависимости от средней оценки работы, выполненной за месяц. Наибольший эффект дала эта система на сборочных конвейерах автотягачей, двигателей, задних мостов и передних осей. Максимальная оценка за высокое качество выпущенной продукции — пять баллов. При оценке ниже трех баллов премия не выдается. На заводе ежемесячно выплачивается 25—30 тысяч рублей премиальных по балльной системе.

Стремясь к улучшению качества продукции, кутаисские автомобилестроители переняли опыт и Ярославского объединения «Автодизель».

Директор автозавода Вахтанг Иванович Харебава рассказывает:

— О пройденном пути, я думаю, достаточно убедительно свидетельствует такой факт: по сравнению с 1951 годом производство автомобилей выросло многократно. Кутаисские автостроители, начав менее чем с четырехтонного КАЗ-130, создали целый ряд грузовых автомашин разных типов, предназначенных для работы в разнообразнейших областях народного хозяйства. Это самосвал КАЗ-585, автоцистерна КАЗ-60Г, автопоезд КАЗ-606А и целый ряд других. Они работают во всех уголках нашей страны и далеко за ее пределами — в Алжире, Индии, других странах. Что же касается наших перспектив, то вот они в основном: на развитие и реконструкцию завода в девятилетке отпущено 40 миллионов рублей; из них 14 миллионов — на жилищно-коммунальное строительство. Будет у нас, в частности, новое рабочее общежитие на 500 мест. Главным же событием на ближайший период станет запуск в серийное производство нового мощного автопоезда грузоподъемностью в двенадцать тонн.

С огромным удовлетворением кутаисские автозаводцы взяли за претворение в жизнь исторического для нашей республики постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию народного хозяйства Грузинской ССР». Заводу отведено в нем значительное место — предстоит его реконструкция и усовершенствование.

Когда в минувшем, 1974 году на заводе побывал Председатель Совета Министров СССР Алексей Николаевич Косыгин, ему продемонстрировали образцы новых машин — тягач КАЗ-44-30 грузоподъемностью в 12 тонн и самосвал КАЗ-45-30 с трехсторонней свалкой грузоподъемностью в четыре тонны, которые в ближайшее время пройдут государственные испытания. Эти машины будут иметь особенно высокую надежность и долговечность.

..Я покидал Кутаиси под вечер. Троллейбус поднялся на мост. Я оглянулся — позади раскинулся автозавод, первенец грузинского автомобилестроения... Огромный, многотрубный, сверкающий бесчисленными огнями, он уплывал в даль, подернутую синеватыми сумерками. Завод, так похожий на корабль. У него, у этого «корабля», замечательный экипаж, хорошая, надежная оснастка, уверенный ход. Большого тебе плавания, Кутаисский автомобильный!

Кутаиси — Тбилиси.





# ПАФОС УТВЕРЖДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

Грузинская лирическая поэма привлекает сегодня особое внимание как поэтов и читателей, так и критиков и теоретиков. Но почему именно лирическая? (Заметим, кстати, что термины «лирическая поэма», равно как и «сюжетная поэма» не совсем точны, но они приняты в критике для обозначения вполне определенных поэтических явлений). Стремясь найти ответ на этот вопрос, нельзя ограничиваться лишь судьбой жанра, необходимо исходить и из закономерностей развития самой поэзии, из общих литературных процессов, из анализа тех глубинных жизненных причин, которые в литературе вызывают те или иные новации.

Критикой отмечалось не раз, что лирическая поэма — достояние не только сегодняшнего дня. Достаточно вспомнить поэмы Блока, Маяковского и Галактиона Табидзе. И все же именно с 60-х годов лирическая поэма заняла едва ли не ведущее место в нашей поэзии, вытеснив поэму сюжетную. На мой взгляд, это обусловлено многими факторами.

На рубеже 50—60-х годов в грузинскую литературу и искусство (так же как и вообще в советскую, европейскую и американскую) пришло поколение, детство которого совпало с войной, а юность и возмужание — с качественными социально-политическими сдвигами в общественной жизни. В связи с этим и в творчестве по-другому зазвучало такое старое привычное слово, как «человек». В грузинском искусстве и литературе это вызвало существенные изменения в постановке новых проблем, возникновении и соответственно — в рождении и утверждении новых оригинальных выразительных форм и жанровых разновидностей. Литература качественно обновилась. Аналогичные процессы происходили в русской и, вероятно, в других братских литературах 60-х годов.

Выдвижение личности и личностного как ведущей тенденции литературного процесса, а не творчества только отдельных писателей, острая постановка нравственных проблем, углубление в вопросы этики — все это «подчеркивало» в грузинской литературе интеллектуализм. Не только в поэзии, но и в прозе, думается, стало существенным не явление или цель явлений, а реакция на них личности, мнение личности, ее отношение к происходящему. Пожалуй, мысль эта не лишена некоторой парадоксальности и может вызвать возражения. Как-никак, творчества без личности и без интеллекта не бывает. Но тут разговор идет об акцентах, о том, что именно стало главным для художника — повествование ли, описание или рассуждение-медитация?

Именно акцентирование личностной оценки явлений, рассуждения морально-этического или философского плана создают художественную специфику интеллектуальной прозы и лирической поэмы. Во всяком случае, последнее десятилетие грузинской литературы отмечено настойчивыми поисками в этом направлении.

В грузинской поэзии лирическая поэма — своеобразная, часто с медитативной акцентировкой — получает свое развитие в творчестве таких поэтов, как Мухран Мачавариани, Отар Чиладзе, Шота Нишнианидзе, Джансуг Чарквиани, Ги-



ив Гегечкори, Бесик Харанаули и других. Интересна для нашего разговора и поэма «Мое магнитное поле» Отара Челидзе — автора нескольких сюжетных поэма, переводчика Пушкина. Но о ней несколько позже. Сначала об отличительных свойствах современной лирической поэмы.

Прежде всего она часто ахронична. Пространство в ней тоже не ограничено. Прошлое и настоящее, далекое и близкое в ней свободно переходят друг в друга. Сны и видения реальные так же, как и сама реальность. И все это, в первую очередь, отображает душу человека, дух личности, а через них мы и познаем дела. Отличным примером такой «поэмы души» можно назвать произведение умного и тонкого поэта Отара Чиладзе «Световой год»; в ней история эпохи просвечивает через историю души человека 60-х годов..

К сожалению, поэмы О. Чиладзе — их девять, очень разных, от остро-политических до сугубо интимных — не известны всеоюзному читателю, как, впрочем, и многие другие современные поэмы грузинских авторов. Здесь перевод явно отстает от национального литературного процесса и тем самым заметно обедняет представление в данном случае не только о грузинской лирической поэме, но и вообще о современном состоянии этого жанра в многонациональной советской поэзии.

Сегодня в грузинской лирической поэме, как мне кажется, можно выделить четыре определяющие тенденции.

Первая заключается в том, что за историческим фактом поэт обнаруживает прежде всего личность и личностное. Автор ведет исследование общественных и личных мотивов, они оцениваются поэтом с позиции человека наших дней. Такая тенденция получила, на мой взгляд, наиболее характерное выражение в поэме Мухрана Мачавариани «Вахтанг».

Она построена на красивой легенде об основании Тбилиси царем Вахтангом Горгасали. Но поэт отнюдь не пересказывает легенду, полагаясь на то, что читателю она доподлинно известна. Ему — читателю — предлагается своего рода сотворчество: он должен связать разрозненные фрагменты, отдельные картинки прошлого, воссозданные поэтом, в одно целое. Например, когда в поэме говорится, что Вахтанг ранен и умирает, читатель должен знать из легенды, что он убит предателем, который знал, что у царя подмышкой кольцо разорвана. Эта деталь, в поэме отсутствующая, не столько связывает фрагменты, сколько дает другое звучание «фактам» собственно поэмы. Читатель синтезирует, по-своему воспринимаемая и преобразуя произведение, совмещая его с легендой и с личным жизненным опытом. Лирическая поэма выступает как открытая художественная система.

Вторая тенденция определяется иным способом рассмотрения явлений. Действительное событие анализируется и трактуется как поэтом, так и непосредственным участником этого события — героем поэмы. Событие дважды преломляется в личностном восприятии. Например, поэму «Человек в газетной полосе» Отар Чиладзе предварил эпиграфом, из которого явствует, что американские солдаты убили у Панамского канала своего товарища за то, что тот отказался стрелять в панамцев. В поэме же вскрываются и отношение-оценка события автором, и чувства убитого американца; читатель как бы становится участником нравственного выбора героя.

Тенденция третья — декларация поэта, открытое выражение своего отношения к той или иной морально-этической или общественной проблеме. Наиболее удачно эта концепция выявилась в лирической поэме Джансуга Чарквиани «Стена веры», пронизанной чувством высокой ответственности за сегодняшний и завтрашний день отчизны, раздумьями о роли и месте каждого человека.

Слова «ты нужен, с тебя начинается отчизна, ты должен верить в жизнь, в твоё предначертанье» служат лейтмотивом поэмы.

Но стена веры поэта не зиждется только на его душевной силе, она воздвигнута временем и народом. Видимо, поэтому монолог поэта сочетается с «голосами», которые, объединившись, и составляют художественное целое. Голоса Поэта, Разума, Запоздавшего путника, Сабы, Голос надежды, Стихотворение ферейданского грузина образуют многоголосие, которое варьирует один и тот же мотив. Поэма ахронична, настоящее перебивается прошлым и будущим, определяя и объясняя друг друга.

И наконец, четвертая — выражение поэтом духовной эволюции или резкого внутреннего перелома; примером здесь служат поэмы Гиви Гегечкори «Сезам, отворись» и «Пятнадцатая палата». По сути эти поэтические видения — биография души человека, сильного именно своим возвышенным отношением к жизни, убежденного, что, пока он способен мечтать, ничто его не одолеет, че-





любека, который благодаря силе духа побеждает физическую немощь. Убежденность героя передается читателю, который, в свою очередь, начинает верить, что волшебное заклинание — «Сезам, отворись» — действительно откроет перед героем мир волшебный и неведомый.

Я бы назвал эти поэмы фрагментами духовной биографии личности. Впрочем, не только эти, а лирическую поэму вообще...

Углубление в себя, самоизучение и самосозерцание, изливание души, исповедь — все эти слова можно отнести именно к такого рода лирическим поэмам, как названные выше произведения Гиви Гегечкори. Но и поэмы Тариэла Чантурия — «Стремление» и «Гость» — о гражданине Вселенной, о космосе становятся в один ряд с поэмами Г. Гегечкори. Пульс космической эры, услышанный и поэтически воспроизведенный Т. Чантурия, ощущается в биении человеческого сердца. Духовная эволюция личности запечатлена и Отаром Чиладзе в его поэме «Человек в газетной полосе», но в ней анализируется уже случившийся факт, клубок разматывается как бы с конца. В поэмах же Г. Гегечкори и Т. Чантурия душа человеческая открывается нам заново и читатель вместе с автором идет к неведомому. Отар Чиладзе проясняет истоки случившегося, Г. Гегечкори и Т. Чантурия пытаются понять сущность своего героя не через конкретный факт, а в аспекте духа времени.

Должен оговориться, что я вовсе не настаиваю на предложенной мною картине тенденций современной лирической поэмы. Во всяком случае, на их общность, взаимосключаемость. Выделение их может быть и произвольно, и их сосуществование в одном произведении вовсе не исключено. Совмещение и даже взаимопроникновение видится мне в поэмах Отара Челидзе «Мое магнитное поле» и Шота Нишнианидзе «Пята и щит Ахиллеса».

«Река ушла, — а ты вернись, займись причиной» — эти слова из поэмы «Мое магнитное поле» являются как бы ключом к самому жанру лирической поэмы. Главное для художника не «река», не то, как она «шла», а «причина», поиск и исследование этой «причины». Этот поиск ведется с позиций нашей современности, поэт смотрит в прошлое — на довоенную пору, на годы войны и послевоенное время с высоты 60—70-х годов. Он «вспоминает» и войну в Испании, и трудные годы испытаний, и полные мечты и дерзаний годы мирной жизни.

В поэме О. Челидзе нет последовательного изложения событий. Фрагменты из жизни героя перемежаются размышлениями и рассуждениями о ней. Поэту важны не сами факты, а их оценка, отношение к ним лирического героя. О второстепенности, художественной незначительности сюжета говорит хотя бы то обстоятельство, что в русском переводе («Новый мир», № 2, 1974, пер. В. Леонovichа) опущена часть повествовательной линии и поэма от этого нисколько не потеряла. В оригинале ощущалась сугубо внешняя попытка сохранить структуру сюжетной поэмы — в переводе поэма превратилась в чисто лирическую. И не только потому, что нарушилась кажущаяся композиционная целостность; оригиналу присуще то личностное отношение к фактам, которое является характерным свойством лирической поэмы.

У поэмы Шота Нишнианидзе «Пята и щит Ахиллеса» много общего с поэмой О. Челидзе. В обеих говорится об одном и том же периоде нашей жизни, одинаково наивно и схематично изложены отдельные факты жизни лирического героя, в структуре поэм сюжетная линия играет второстепенную роль. Рассказ о жизни героя у Ш. Нишнианидзе форсируется прозой; будто автору не интересно передавать события в поэтической форме, ему не терпится приступить к рассуждению, к анализу в стихах всего того, о чем надо было информировать читателя. В обоих случаях (особенно в поэме Нишнианидзе) художественная ценность медитации выше эпического повествования.

Более того, сюжетное начало до того превалирует в лирических поэмах Хута Берулава «Сын солдата» и «Сказание о рождении Тбилиси», что их структура заметно повторяет структуру баллады.

Значит ли это, что эпическое начало в поэме — анахронизм? Поэтическая практика против таких — наивных — утверждений. И отличным опровержением их может служить историческая поэма Мурмана Лебанидзе «Взятие Аниси», со вкусом и большим тактом повествующая об освобождении грузинским царем Давидом Строителем древней столицы Армении Аниси от захватчиков.

Выделенные выше тенденции немалое влияние оказывают на композиционную структуру лирической поэмы, где рассуждение занимает ведущее место. Иногда встречаются целые поэмы-рассуждения, поэтические монологи. Насколько, однако, это ново для поэтической традиции в грузинской литературе, сказать трудно, особенно, если вспомнить поэму «Призрак» Ильи Чавчава-





дзе — предтечу современной грузинской лирической поэмы. Но это другой разговор. Сама форма такой медитативной поэмы открывает в себе опасность статичности. Статичности мысли и чувства. Чтобы нарушить ее, часто в поэму, как делает это Джансуг Чарквиани, вводятся «голоса», речи, исповеди героев-вымышленных или имеющих реального прототипа (быть может, тут перекрещиваются как явления одного плана «исповедальная» проза и лирическая поэма?), или делаются вариации на тему, что порой затрудняет восприятие произведения как единого целого (например, в поэме Дж. Чарквиани «Кольчуга» двадцать пять таких вариаций).

Двадцать лет тому назад подобные лирические поэмы называли бы циклами стихотворений. Здесь, надо полагать, проявился генезис одного из ее видов.

С этой точки зрения интересно сравнить широкоизвестные поэтические произведения Ираклия Абашидзе «По следам Руставели» и «Палестина, Палестина...». Первое — цикл стихов. Семь стихотворений цикла не являют собой единого целого, ибо не определяют друг друга, не создают структуру единого произведения. Второе же — «Палестина, Палестина...», которое, по словам Николая Тихонова, «написано необычно», — лирическая поэма (хотя автор сам не определяет жанра). Двенадцать стихотворений поэмы друг с другом связаны не только личностью Шота Руставели, его судьбой, не только общим настроением, но и композиционно: у них общее обрамление. Я имею в виду поэтический эпиграф, в котором поэт обращается к Руставели: «Всем сердцем жажду твой далекий потомок представить себе, что думал и переживал ты в последние дни жизни.

Так зачи тебе эти «голоса», как действительно услышанные им в грузинском Крестном монастыре Палестины, в твоём последнем убежище, спустя семьсот лет после твоего бесследного исчезновения».

Он и играет в поэме роль обрамления, которое представляется одним из главных композиционных элементов, объединяющих отдельные стихи-«голоса».

Симптоматично, что «Палестина, Палестина...» автором создана в 60-е годы: в ней, очевидно, чувствуется веяние того времени, которое, возможно, и вызвало к жизни «голоса», повлиявшие на развитие современной грузинской лирической поэмы.

В поэме Тариэла Чантурия «Братья» пространный эпиграф, в котором излагается известный факт, тот же композиционный прием, что и у Абашидзе, — обрамление. Им служит история американского балетмейстера Джорджа Баланчина и грузинского композитора Андрея Баланчивадзе — братьев, сыновей грузинского композитора Мелитона Баланчивадзе. Волею судьбы они оказались разлученными и, более того, ныне представляют два разных народа. На гастроли в Тбилиси Баланчин привез спектакль «Блудный сын».

Внешне вся поэма заключена в эту сюжетную канву, но потом замечаешь, что картина выходит за установленные рамки, поэма высвобождается, ей чужды границы и времени, и пространства. Частный реальный факт перерастает в факт художественный.

Структура такой поэмы в какой-то степени повторяет структуру романа на заре его происхождения. Но, может быть, мы имеем дело с разрушением монолитности классической поэмы и превращением ее в некое полифоническое произведение с солистом, хором и оркестром? Часто они («голоса» — фрагменты) объединены одной темой, одним чувством, одной проблемой — это сильный каркас, и поэма собрана. Но когда стержень незначителен, «многоголосая» поэма оказывается композиционно рыхлой, аморфной, «разваливается» на глазах. Это только напоминает о том, что мы являемся свидетелями становления основных свойств жанра, свидетелями рождения нового в грузинской поэзии.

Чтобы разнообразить композицию поэмы, авторы нередко перемежают белый и рифмованный стихи, как, например, делает это Отар Чиладзе в своих поэмах «Три глиняные пластины» и «Поэма любви». В последней белым стихом написана часть «Эвридика и Орфей», а рифмованным — «Еще одна весна». Как отмечала грузинская критика, «эти два мотива, две темы развиваются в поэме параллельно, нигде не пересекаясь, кроме как в восприятии читателя. Писатель не связывает мифологические и реалистические мотивы, это делает читатель, настолько связь очевидна и ощутима».

Лирическая поэма предъявляет к читателю большие требования, делая его непременно соучастником творческого процесса. И от его готовности стать им зависит многое — именно ему предоставляется расшифровать и связать те «голоса», те линии лирической поэмы, которые неискушенному читателю могут



показаться абсолютно чуждыми друг другу. Более того, он должен расшифровать метафорические вставки и символы, которые несут (должны нести!) информацию, содержащуюся прежде в незатейливом повествовании.

В этом мне представляется не только одна из главных тенденций лирической поэмы, но и современной литературы. Поговаривали ведь, что роман умер. А он сохранил эпичность именно благодаря интенсификации художественного языка, трансформации знакомых символов, мифологических и исторических, стиранию границ времени и пространства. Именно такой подход к материалу характерен для многих современных грузинских поэм, будь то «Кладбище слонов» Таризла Чантурия, «Вахтанг» Мухрана Мачавариани или «Три глиняные пластины» и «Поэма любви» Отара Чиладзе. Факт некоей дублировки современных бытовых явлений и известных мифологических и исторических символов характерен и для грузинской современной прозы. Здесь проявилась общая черта грузинской современной литературы. Не удивительно, что именно Отаром Чиладзе написан большой эпический роман «Шел человек по дороге», в структуре которого поэтическое осмысление мифологических символов играет основную роль.

В небольшой статье вряд ли возможно охватить развитие и состояние современной грузинской лирической поэмы. Мне бы хотелось только отметить то главное, что вызвало ее к жизни, — возросшую роль личности в обществе. Мы должны привыкнуть к тому, что все меняется. Поэма тоже. И только: меняется, а не исчезает, не отмирает, не уходит бесследно в прошлое.

Может быть, наивно писать об этом, но хотелось бы предостеречь расположенных к скороспелым выводам критиков и особо отметить, что сам по себе жанр лирической поэмы не содержит в себе каких-либо особых качеств, ставящих ее выше других видов поэзии или прозы. Все зависит от таланта художника, от творческой концепции автора, от художественных достоинств конкретного произведения... Ведь у тех самых авторов, о которых я говорил, наряду с хорошими лирическими поэмами есть и слабые. Видимо, плохая лирическая поэма от плохой сюжетной поэмы отличается только краткостью. Конечно, это достоинство, жаль только, что не всегда художественного порядка.

И еще. В Грузии сюжетная поэма сегодня в тени, но, к счастью, творчество писателей не оправдывает теоретические прогнозы. И я не удивлюсь, если именно сейчас пишется сюжетная поэма, достоинства которой заставят нас заговорить о ее возрождении. Прав Отар Чиладзе —

Завтра может опять возродиться  
То, что нынче совсем обветшало, —  
Обновленное к жизни вернется  
И глаза еще шире раскроет.

Разумеется, скорее всего сюжетная поэма видоизменится, станет другой, более гибкой, емкой, но конкретные черты ее вряд ли сейчас можно уловить. Повременим. Посмотрим.





# П О Л Д Е Н Ь...

## К ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЮ АННЫ КАЛАНДАДЗЕ

Анна Каландадзе — особый материк в современной грузинской поэзии. «Двух миров я граница», — справедливо сказала о себе поэтесса, чья поэзия родилась на стыке двух времен, двух мироощущений. У нее есть стихи, пронизанные языческим поклонением солнцу и ветру, навеянные библейскими образами, посвященные историческому прошлому Грузии... Но в целом поэзия Анны Каландадзе — современна и по своему горизонту, и по гражданскому звучанию, и по постановке вопросов, и по версификации. Кажущаяся архаичность и книжность некоторых ее стихотворений по существу явились в свое время модернизацией грузинского стиха.

Русский читатель с поэзией Анны Каландадзе знаком давно. Наиболее полный сборник ее стихов на русском языке вышел в 1972 году. Называется он «Мравалжамнер», что означает — «Многая лета». Надо отдать должное переводчикам поэтессы Елене Николаевской (большинство переводов в сборнике принадлежит ей), Белле Ахмадулиной и другим — они с любовью и знанием дела переводили ее строки. И все же, несмотря на это, сборник, в который вошли известные стихи Анны Каландадзе, ставшие уже хрестоматийными, не дает полного представления об облике этой поэтессы, о ее многогранности, о медитационном настрое ее стихотворений (таких немало в ее творчестве) и т. д. Конечно, дело не в качестве переводов — они великолепны. Просто вне сборника остались многие стихи хотя бы потому, что некоторые из них опубликованы совсем недавно.

Анна Каландадзе вводит читателя в сферу грузинской интеллектуальной поэзии не только посредством поэтических аксессуаров, но и всем своим мироощущением, восприятием явлений. Ее мироощущение родственно этой литературе, так как творчество по-своему всегда является светом духовного

мира творца, и, конечно же, не только книжным путем пришли в поэзию Анны Каландадзе те или иные образы или настроения.

Среди первых стихотворений поэтессы встречается несколько таких, которые обычно всегда пишутся в начале творческого пути: это традиционное прочтение вечных тем — о кладбище, о безнадежности, о добром и злом начале в судьбе, о роке... Среди них следует выделить «Кладбище» (в русском сборнике оно без заглавия). В нем, как и в стихотворениях представителей романтической или же сентименталистской школы, мы вновь встречаем «ветер, скорби исполненный», «безмолвие кладбища» и т. д., но восприятие поэта здесь намного шире и значительно больше его печаль:

И читает на камне луна  
письмена —  
начертанья нухури<sup>1</sup>, мтавури<sup>2</sup>,  
в тишине, на ветру ли..  
Ветер рыщет на кладбище  
Среди плит и гробниц,  
Себе ищет пристанища,  
Ищет пристанища..

(Перевод Е. Николаевской)

Надо особо отметить, что поэтическая техника А. Каландадзе с самого начала была безупречной. Поэтесса предстала перед читателем, как законченный мастер, который в дальнейшем лишь обогащался. Мир, увиденный ее глазами, — это мир, увиденный глазами женщины. Иначе и не могло быть, ведь лирика — это в первую очередь общение личного, сокровенного. Если не считать грузинского фольклора, в многовековой грузинской поэзии Анна Каландадзе, по существу, первая значительная поэтесса, как справедливо отметил в свое время Нодар Чхеидзе, которая выступает как женщина. Поэтессы древней Грузии, кроме царевны Борены (Манана, Кетеван и др.), не по-

<sup>1</sup> Нухури — грузинское письмо IX—XI вв.

<sup>2</sup> Мтавури — заглавные буквы.



падают в этот разряд. Многие стихи Анны Каландадзе предельно выразительны еще и потому, что она точно выразила своего лирического героя — женщину. Здесь можно сослаться на популярное стихотворение «Тута». Несмотря на то, что стихи Анны Каландадзе часто одной тональности, поэтесса не страдает автореминисценциями. Она каждый раз живет тем стихотворением, которое пишет в данный момент. Таковы и ее пейзажные зарисовки. Возьмем, к примеру, «С Зедазени»:

А небо над ущельем Арагви  
Все такое же синее и далекое.  
Хорошо иметь его.  
Хорошо иметь его  
В сердце...  
О, как стройна  
Дорога на Имеретию,  
Дорога на Имеретию  
Прямая, словно струна.  
Как эти места чисты и добры,  
Как быстро здесь дни летят.  
Над Зедазени шелестят дубы,  
Дубы шелестят...

(Перевод Б. Ахмадулиной)

Пейзаж здесь очень динамичный, если можно так выразиться. И достигнуто это благодаря ритму стихотворения в целом или междометно в фразе «О, как стройна дорога на Имеретию», сказать трудно. Одно бесспорно: каждое явление или предмет в этом стихотворении не только увидены, но и прочувствованы. Поэт, конечно же, не только зритель в этом случае. Можно с уверенностью сказать, что пейзажи Анны Каландадзе (а такого рода стихотворений немало в ее лирике) — субъективные пейзажи. В них главное — отношение поэта к окружающему.

Очень много у Анны Каландадзе стихов, посвященных историческому прошлому Грузии. Древняя Грузия со своими замученными царицами, великодушными рыцарями, иногда даже трагичными правителями всегда была источником ее вдохновения. Наверное потому, что в судьбе Картли было действительно много драматического, поэтесса с болью и большой любовью пишет о ней. Очень сильно проявилось это в таких стихах, как «Далеко Тамар», «В Аспиндзу царь Ираклий на татар...» и многих других. Часто, и это вполне естественно, фрагменты из прошлого Грузии дают возможность поэтессе выявить собственную позицию, сказать то, что ей кажется важным. Вспомним хотя бы замечательное стихотворение, посвященное Давиду Строителю.

Поэтическому миру Анны Каландадзе созвучен древнегрузинский язык,

используемый ею с чувством меры и большим вкусом. Она безукоризненно владеет древнегрузинским языком, однако свои произведения не превращает в демонстрацию этих познаний, наоборот, то или иное слово вставляется ею в контекст с редким тактом, благодаря чему достигается именно тот эффект, к которому стремится автор.

Многие ее стихотворения, помимо того что малы по размеру, носят фрагментарный характер. Анатолий Франс писал, что безмерно любит все, носящее незаконченный характер. По его мнению, в мире существуют лишь фрагменты и обломки, они-то и даруют душе представление о совершенстве. Таких цветных обломков, дающих представление о совершенстве, множество в поэзии Анны Каландадзе. Мне хотелось бы назвать несколько ее стихотворений на библейские сюжеты, к сожалению, не переведенных на русский язык. Они составляют один цикл — это размышления о бытии и небытии, о том, что все преходяще, что эта закономерность и в конце концов таинство... Не будем подходить к поэтессе схоластически: она, конечно, прекрасно знает, что у всего есть точное научное объяснение, но известно ей и то, что только в поэзии существует «фиолетовый снег» и «усталые снежинки».

В одном из своих ранних стихотворений Анна Каландадзе писала: «О, существует что-то, заставляющее безмерно думать». Вся ее поэзия — попытка найти это «что-то», поделиться с нами размышлениями, порождаемыми этим непостижимым. Что это? Существо человека, закономерности природы или любовь, возведенная в ранг божества? Наверное, все вместе взятое, так как все это — и есть то человеческое, которое никому не чуждо... Анна Каландадзе — своеобразно мыслящий поэт. Она часто задумывается над всеми вечными и нерешенными вопросами, которые всегда были предметом поэзии. С этой точки зрения, эта область ее творчества — типичная медитативная лирика. А как известно, главный пафос медитативной лирики в том, что она, в отличие от строго логического мышления, характерного вообще для философской лирики, стремится передать непосредственно поток размышлений и эмоций.

В стихах Анны Каландадзе чаще ставится вопрос, чем дается ответ; эти стихи чаще рождены эмоциями, чем разумом, хотя читатель всегда чувствует думающего поэта. В этом плане у Анны Каландадзе в грузинской литературе авторитетные предшественники. Им она обязана многим, хотя и не в равной степени. Так, неоднократно отмечалась взаимосвязь ее «Листьев» с стихотворением Галактиона Табидзе.







Звезд лучи ты сковала, цветы  
 иссушила,  
 Ты дождям предала оголенные  
 рощи, поля,  
 Как покинутый храм, ты их звука  
 и цвета лишила.  
 Занялась отравлением птиц,  
 потеряла им счет,  
 Всем упавшим листьям угодила  
 место покоя.  
 Белый всадник на белом коне  
 Скачет, холод несет,  
 Он к твоей красоте потянулся  
 рукой ледяною...  
 Ты готовишься к снегу, готовишься  
 к снегу, земля!

(Перевод Е. Николаевской)

Особое место в творчестве Анны Каландадзе занимает природа. Ни у одного современного грузинского поэта она не «подчеркнута» столь сильно, как у нее. У поэтессы многогранное отношение к ней: иногда это просто отношение эстета. очарованного ею, иногда — мыслителя, видящего в природе определенную закономерность, которая потому и становится для него предметом размышлений. Природа в поэзии Анны Каландадзе — ожившая, персонифицированная:

Тогда, богатырские вскинув плечи,  
 срываясь с земли, тополя  
 покидают поля.  
 На сказочном Раши солнцу навстречу  
 Мчатся мои тополя.

(Перевод Б. Серебрякова)

Своим отношением к природе Анна Каландадзе часто напоминает Важа Пшавела; в некоторых стихах (которые, к сожалению, не переведены на русский язык) эта связь ощутима даже в образном плане.

Есть у поэтессы несколько стихотворений, которые более зримы, чем слышимы. Вспомним хотя бы маленькие зарисовки «Цыганка» и «Арабка», представляющие собой прекрасные примеры портретной живописи. Или же стихотворение «Бубны», в котором именно зрительный элемент выдвинут на первый план. Но у Анны Каландадзе есть одно удивительное свойство — заставить вас увидеть, почувствовать и без описательства. Когда она описывает Давид-Гареджи и говорит:

И разостлана горячая земля,  
 И разостлано горячее небо

(Подстрочный перевод)

—вы знаете, что эта общая характеристика в данном случае предельно точна.

Поэтическое мышление Анны Каландадзе традиционно, несмотря на то, что каждую тему она трактует соответственно. К примеру — хотя поэтический цикл «В Пшави» и другие стихи и написаны в народном духе, даже в них налицо своеобразная поэтическая традиция, присутствующая в творчестве многих первоклассных поэтов. Вне вдохновения поэтессы осталось ассоциативное мышление, столь характерное для сегодняшней поэзии. В ее стихах вы не встретите разных явлений, соединенных одним поэтическим видением. Так, земля у нее — горячая, небо — безграничное, свеча — чистая и так далее. Это традиционное восприятие явлений придает своеобразную окраску поэзии Анны Каландадзе. Несколько ее стихотворений напоминают японскую поэзию, но не материальным воплощением, а его принципом.

К примеру:

Ты внемлешь мне, как солнцу  
 океан внимает,  
 Течешь в меня, как солнце в океан..  
 В глазах твоих камей лунная  
 сверкает,  
 И звездной радостью я осиян..  
 . . . . .  
 А будешь ли внимать мне вновь,  
 как солнцу океан внимает?  
 Владешь ли вновь в меня,  
 как солнце в океан?

(Перевод Г. Юнакова)

Примеров можно привести немало. Конечно, ни одно из малых стихотворений Анны Каландадзе (а она отдает предпочтение малой форме, ее стихи редко превышают три-четыре строфы), не танка и не маньесю, но эти стихотворения напоминают танку своим лаконизмом и глубиной, которая присуща японской поэзии. Кстати, это наблюдение высказано мной еще в 1969 году в статье об Анне Каландадзе, опубликованной в журнале «Цискари». И было очень приятно прочитать аналогичное мнение в предисловии Юрия Суровцева к русскому изданию стихотворений поэтессы. Это еще раз подтверждает, что даже в такой субъективной сфере, как поэзия, есть величины, к которым приходят разными путями, самостоятельно, но получая одни и те же результаты.

Читая стихи Анны Каландадзе, все время чувствуешь книжность их автора, хотя это вовсе не значит, что ее стихотворения — книжного происхождения. Вдохновение поэтессы иногда затрагивает даже предысторическое прошлое, и она говорит:



На ногах моих — хаили из кожи  
оленей,  
Солицу я поклоняюсь,  
И пламя я чту...  
Дым молочный плывет, моему  
повинуясь вельню,  
в высоту...

(Перевод Е. Николаевской)

Поэтическое перевоплощение, когда поэт старается представить себя другим человеком, иногда даже предметом, хорошо известно в мировой литературе. Но для Анны Каландадзе главное — не точное восприятие и передача чужой психологии, а собственная позиция по отношению к ней. Как мыслящий художник, она любознательна — ее интересует, например, откуда пришли пелазги. Трудно установить, откуда они появились в творческом мире Анны Каландадзе: из старых ли фолиантов, или из уроков истории... Но вы читаете маленькое ее стихотворение, и перед вами встает образ выжженных «солнцем Халдеи» «сильных тел». Такое сплетение истории, собственного, сегодняшнего и злободневного нередко в поэзии Анны Каландадзе.

Особое место в ее творчестве занимает любовная лирика. И тут поэтессой созданы настоящие шедевры. Есть у нее стихотворения, заслуживающие особенно пристального внимания. Как известно, в грузинской поэзии существует традиция отождествления любимой (или любимого) с родиной. Классический пример тому — поэзия Акакия Церетели. Если же вспомнить восточную лирику, очень трудно будет установить в ряде случаев грань между любимой и божеством (с такой точки зрения подходят и к одному из стихотворений

Давида Гурамишвили). Читая стихотворение Анны Каландадзе, нельзя не вспомнить этой древней традиции! Родина, любимый, божество преломлены в одной призме, и трудно сказать с уверенностью, кому принадлежат, например, эти строки:

Я тебя увенчаю прекрасным венцом  
И тем самым тебе — хоть безгласно —  
Сокровенную думу поведаю я,  
ничего не тая...  
Я возвышусь в синюющем небе твоём,  
для тебя — воспылаю  
и, вспыхнув, угасну...

(Перевод Е. Николаевской)

У Льва Толстого в «Воскресении» есть такая фраза: «Мистика без поэзии — это суеверие, поэзия без мистики — это проза». Мы знаем много прекрасных поэтов, в творчестве которых мистический элемент занимает известное место. Присутствует он и в поэзии Анны Каландадзе. Таинственное, недостижимое, мистическое часто будоражит воображение поэтессы, но, конечно, это не приводит ее к богу. И хотя в поэзии Анны Каландадзе часто встречаются нарисованные на стенах храма ангелы, опустевшие монастыри, вы обязательно заметите, что они увиденны глазами современника и на них автор смотрит как на реликвии. Последний большой цикл стихотворений Анны Каландадзе фактически продолжает путь, начатый ею еще в первой книжке. Нарочитая монотонность, архаичность, христианские аксессуары этих стихотворений — это тоже своеобразная модернизация и еще одна грань высокой поэзии замечательной грузинской поэтессы.





Выдающийся армянский поэт Ваган Терян (1885—1920) статью «Акакий Церетели в Москве» написал в 1915 г. студентом факультета восточных языков Петроградского университета. Узнав о смерти А. Церетели, В. Терян вспоминает волнующий эпизод, связанный с приездом великого грузинского поэта в Москву, где в то время Терян учился на историко-филологическом факультете.

Вскоре после встречи с А. Церетели Терян

стал изучать грузинский язык и не только познакомился со всей его поэзией, но и сделал перевод стихотворения «Кинто» (в архиве Теряна хранится рукопись перевода, а также грузинский и русский тексты этого стихотворения).

Ваган Терян был большим ценителем грузинской литературы, горячим поборником грузинско-армянского братства. В 1914 году он начал перевод с грузинского на армянский язык поэмы Шота Руставели «Витязь в барсовой

шкуре», однако болезнь и смерть помешали ему закончить эту работу. Был сделан перевод только вступления к поэме.

Статья «Акакий Церетели в Москве» была напечатана в феврале 1915 года в армянской газете «Мшак» («Работник»), выходившей в Тифлисе. Впоследствии она была включена в собрание сочинений поэта. В переводе на русский язык публикуется впервые.

Нвард ТЕРЯН.

Ваган ТЕРЯН

## АКАКИЙ ЦЕРЕТЕЛИ В МОСКВЕ

Обычно поэты бывают несчастливы в личной жизни. Это всем хорошо известно и в наших глазах приняло характер закономерности, стало как бы необходимым условием для носящих высокое звание поэта. Это неизбежно, без этого почти невозможно себе представить его биографию. Она показалась бы нам неполной, несовершенной, может быть, даже странной и неправдоподобной...

Мы в такой степени привыкли к этому, что каждому пишущему о поэте репортеру известно о необходимости говорить об «усыпанном шипами» пути. И когда поэт умирает, более всего говорится о несчастливых, наполненных страданиями событиях его жизни. Это тоже обычно, более чем обычно: это стало порядком.

Но в жизни поэтов бывают и счастливые минуты, о которых не говорится так много, как о несчастье.

Именно такой счастливый эпизод из жизни поэта я помню и о нем хочу рассказать. Я хочу это сделать сегодня, когда прочитал в газете печальное известие



о его смерти. Может быть, я и ошибаюсь, думая, что в ту минуту поэт чувствовал себя счастливым, но таково мое впечатление.

Однажды один из моих грузинских друзей сказал, что в Москву должен приехать Акакий Церетели и они уже готовятся к его приему.

Неделю очень энергично готовились студенты, целую неделю: где бы я ни встречал студентов-грузин, темой их разговора был Акакий...

Акакий...

Удивительное дело: так они называли своего прославленного, по-видимому, пользующегося огромной популярностью поэта. Сначала мне это показалось странной фамильярностью. Но потом я увидел, что это совершенно не мешает моим друзьям относиться к поэту с почтением и уважением, доходящим до преклонения. Видимо, подумал я, они своего поэта называют так потому, что Церетели пользуется у них не только глубоким уважением, но и исключительной любовью.

И действительно, он пользовался такой любовью.

Я присутствовал на одном торжестве, которое свидетельствовало об этой горячей любви.

Это празднество можно было назвать «торжеством любви». Я видел такие празднества в честь русских и армянских писателей, но никогда не видел почтения, столь полной сердечной, семейной, патриархальной любви... Часть студентов и немногочисленных грузин — жителей Москвы пошла на вокзал встречать Церетели, а остальная часть собралась в Литературно-художественном клубе, в одном из залов которого должен был состояться банкет в честь поэта. Подавляющее большинство составляли студенты.

Некоторые были одеты в национальные костюмы. Наверное, это обстоятельство и скопление смуглых кавказцев заинтересовало обычных посетителей клуба, и многие из них подходили то к одному, то к другому, спрашивая о цели собрания.

Довольно долго ожидало это общество, пока наконец несколько экипажей подряд не въехали во двор клуба; немного времени спустя двери широко открылись, и в сопровождении Сумбатова<sup>1</sup> вошел старец. Тотчас же воздух наполнился радостными возгласами. И пока поэт медленно поднимался по лестнице, смешавшаяся толпа бросала на него и перед ним живые цветы.

У входа его приветствовали, и он коротко поблагодарил за это.

На минуту показалось, что он растерян и растроган выражением этих бурных чувств. И, поднимаясь по лестнице, как-то подтянулся, выпрямился, будто боясь, что размякнет.

Стоявший рядом русский журналист обратился ко мне:

— Чем объясняется эта беспримерная любовь к поэту?

— Не знаю, — ответил я и впервые в жизни почувствовал себя очень плохо из-за незнания грузинского языка: я даже не знал, что написал Церетели.

Мой русский знакомый знал, что я армянин, однако был уверен, что я должен хорошо знать грузин. И, конечно, был прав, ожидая, что я более осведомлен о жизни и литературе близкого нам народа, нашего векового соседа. Однако многие ли армяне могут похвастаться подобной осведомленностью?

Когда мои друзья рассказывали о Церетели, я не представлял его таким старым. Но когда поэт вошел в зал и уселся, я вспомнил нашего Айрика<sup>2</sup>, и мне показалось на минуту, что и Акакий, подобно ему, должен сказать: «Айрик устал»...

Зал был заполнен публикой, особенно студентами.

Из сидящих за столом сперва выступили представители грузинской колонии Москвы, «пожилые», если можно так сказать.

Потом слово взяли студенты.

И сразу же лицо поэта просияло, улыбка больше не сходила с его уст.

Большая часть речей была мне непонятна или же была понятна настолько, насколько быстро могли переводить сидящие по соседству со мной любезные грузинские товарищи. Однако достаточно было вслушаться — и по тому, как он говорил, по интонации и, наконец, по выражению лица Церетели можно было догадаться, сколь сердечны и вдохновенны слова молодых людей.

<sup>1</sup> Сумбатов (псевд. — Южин) Александр Иванович (1857—1927) — известный актер, драматург, режиссер, почетный академик (1917), народный артист Российской Советской республики (1922). Происходит из грузинской княжеской семьи.

<sup>2</sup> Мкртич I (народное прозвище — Айрик, отец по-арм.) Хримян (1820—1907) — католикос-патриарх всех армян, политический деятель, писатель.





ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ԱՆՈՒՄԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Все время царила удивительная простота и искренность. Совершенно отсутствовала присущая подобным торжествам сдержанная и сухая официальность.

Это настроение господствовало и тогда, когда Боборыкин<sup>1</sup> и несколько других русских писателей и журналистов пришли приветствовать поэта «прекрасной Грузии».

Как будто это был не «банкет», а семейный ужин, на котором вокруг своего седовласого патриарха-деда собрались и вели беседу многочисленные дети и внуки.

Говорил и сам поэт. Говорил и по-русски.

Снова я вспомнил Айрика.

Говорил, как и он, — ясно и остроумно, без ораторского пафоса.

Выступавшие студенты после окончания своих речей подходили и целовали руку поэта, а он — их в лоб.

Это привлекло внимание присутствовавших русских и, видимо, удивило их.

Безграничная простота и искренность были во всем этом торжестве. Каза-лось, бесчисленные дети без стеснения открывают перед добрым и старым от-цом свое полное любви сердце и хотят утешить его познавшее много шипов и яда сердце, его поседевшую от тяжелых дум и горестей старость.

И патриарх был утешен: его глаза были полны слезами радости, а слова — любовью и верой в растущее новое поколение, которое окружило его.

В своих коротких, но проникновенных речах он несколько раз выразил эту веру, благодаря которой чувствовал себя счастливым и утешенным. Эта любовь, которой молодое поколение окружило старого поэта, это воодушевление, с кото-рым растущее поколение говорит о своей стране, как бальзам смягчает сердце поэта, и это одна из самых счастливых минут его жизни. Таков был смысл его слов.

Счастье сияло на его лице, лице патриарха, в его старческих глазах, пол-ных слез...

<sup>1</sup> Боборыкин Петр Дмитриевич (1836—1921) — русский писатель, автор свыше 100 романов, повестей, пьес, рабст по истории русской и западноевропейской литературы.

Перевод с армянского Нвард ТЕРЯН





**Я** НЕ ЯЗЫКОВЕД и не философ-эстетик, мне попросту хочется поделиться своими мыслями, своими соображениями о природе языка вообще.

Удивительная вещь — слово! Оно обладает не только особым звучанием, но и цветом, и ароматом. Слово — единственное и неповторимое как форма и общее как понятие, как содержание. Возьмите для примера любое слово, хотя бы «лазурь». Как слово оно единственное в целом свете, и возможно, в этом и заключается его красота, но как понятие оно общее, а общее не имеет своего неповторимого, конкретного образа. Следует думать, что эстетическое переживание слова, красота его связана в первую голову с его неповторимой формой.

Глубоко прав был Анатоль Франс, утверждавший, что с помощью определенных знаний по лексике французского языка можно проследить всю историю Франции.

Если бы язык был лишь средством общения и только, любому буквоеду-догматику был бы открыт путь к перекраиванию языка. Но, к счастью, язык нечто гораздо большее, чем простое средство коммуникации. Язык — высший эстетический феномен, предмет эстетического переживания, язык — это сама родина, перенесенная в духовный мир человека. У выдающегося грузинского прозаика Михаила Джавахишвили есть небольшая повесть, весьма любопытная по содержанию: герой ее, Андро Кайшаури, в раннем детстве переехал вместе с родителями в город Моздок. Уроженец грузинского горного села Ананури, Кайшаури вырос в России, юношей включился в народническое движение. Далее обстоятельства вынудили его эмигрировать за границу, и он обосновался в небольшом городке Франции. Молодой человек к тому времени начисто позабыл не только родной язык, но даже исконные грузинские имена своих родителей! Французский язык сделался для него родным, сам он стал зваться Андрэ Кашором; словом, от истинного национального происхождения в нем ничего не сохранилось, а уж дети его и внуки были совершенными французами. И вот уже в восьмидесятилетнем возрасте судьба или случай свели его с неким грузином. Эта встреча внезапно всколыхнула в его душе какие-то отдаленные, но необыкновенно волнующие воспоминания, и в источенной годами памяти старика воскресли неясные образы, зазвучали сладостные звуки родной речи.

И — поразительное перевоплощение: Андрэ Кашор вдруг заговорил на чистейшем грузинском языке! Ожили впечатления детства, тех лет, что прошли на родине, голос родины властно позвал его, и необоримое желание вернуться в родные края охватило старика. Родная речь неразрывно связала, сплавила воедино начало и конец его жизни...

Не знаю, сочтет ли наука возможным такое обращение человеческой памяти. Но главное здесь не столько верность фактам, действительности, сколько художественная правда переживаний и чувств автора. Для писателя родной язык — это сама родина, живущая в душе человека. Вот в чем суть!

Безусловно, нет нужды доказывать, что чувство языка является одной из постоянно действующих основ художественного творчества. Язык для писателя не только материал — как, скажем, камень для скульптора (к сожалению, некоторые представляют себе и язык таким же мертвым материалом) — и не просто словесная руда, которую надо переплавлять тоннами, чтобы добыть

# С л о в о во славу с л о в а...



грамм драгоценного поэтического кристалла, но и неисчерпаемый источник вдохновения и творческой фантазии как образ и лик родины.

Я не берусь судить о роли языка в таких «бессловесных» областях искусства, как музыка, живопись, скульптура, зодчество. Но поскольку творчество «бессловесного» художника отличает от «творчества» соловья или пчелы столь решающий элемент, как мысль, осмысленность действий, то, естественно, чувство языка, на котором мыслит сам художник, не может не сообщиться его творениям. Однако это — глубинное явление творческой психологии, которое уже само по себе может явиться предметом лишь совершенно особого и сложного изучения. Поэтому вернемся к предмету нашего непосредственного размышления. Итак, ясно одно: писатель и литература начинаются с чувства родного языка. О неразрывности чувства родной речи и поэтического мышления говорил еще Шота Руставели.

Каждый истинный художник, в том числе и сам народ как величайший и искуснейший художник, не может оставаться равнодушным к исторической судьбе родного языка.

Помню, как-то в «Литературной газете» некий осетинский критик выступил с заявлением, что его-де несколько не тревожит, какая участь постигнет в дальнейшем его родной язык. А известный дагестанский поэт Расул Гамзатов восклицает в одном из своих стихотворений: «И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть».

Трудно спорить как с одним, так и с другим положением: ведь оба они — в сфере чувств. Лично я, конечно, разделяю последнее. Хотя бы потому, что в любви я вижу больше истины. И не зря поется в грузинской народной песне: «Что разрушит вражда, любовь отстроит».

Но, конечно, дело здесь не только в любви. Главное — роль родного языка в духовной жизни народа, в развитии его культуры и, в частности, художественного творчества.

«Язык — основа культуры», — писала та же «Литературная газета». Это положение, конечно, не содержит ничего нового, но оно указывает на вечнодействующую силу, непреложную истину. Язык — основа культуры, каждый язык, а не язык какого-либо одного народа; ведь нельзя же под словом «жизнь» подразумевать дыхание какого-то одного человека! А язык народа — это его дыхание. Мне невольно пришли на память слова замечательного русского педагога К. Д. Ушинского:

«Язык народа — лучший, никогда не увядающий и вечно вновь распускающийся цвет всей его духовной жизни, начинающийся далеко за границами истории. В языке одухотворяется весь народ и вся его родина; в нем претворяется силой народного духа в мысль, в картину и звук небо отчизны, ее воздух, ее физические явления, ее климат, ее поля, горы и долины, ее леса и реки, ее бури и грозы — весь тот глубокий, полный мысли и чувства, голос родной природы, который говорит так громко о любви человека к его иногда суровой родине, который высказывается так ясно в родной песне, в родных напевах, в устах народных поэтов. Но в светлых, прозрачных глубинах народного языка отражается не одна природа родной страны, но и вся история духовной жизни народа. Поколения народа проходят одно за другим, но результаты жизни каждого поколения остаются в языке — в наследие потомкам. В сокровищницу родного слова складывает одно поколение за другим плоды глубоких сердечных движений, плоды исторических событий, верования, воззрения, следы прожитого горя и прожитой радости, — словом, весь след своей духовной жизни народ бережно сохраняет в народном слове. Язык есть самая живая, самая обильная и прочная связь, соединяющая отжившие, живущие и будущие поколения народа в одно великое, историческое живое целое. Он не только выражает собой жизненность народа, но есть именно сама эта жизнь. Когда исчезает народный язык, — народа нет более! Вот почему, например, наши западные братья, вынесши все возможные насилия от иноплеменников, когда это насилие, наконец, коснулось языка, поняли, что дело идет теперь уже о жизни или смерти самого народа. Пока жив язык народный в устах народа, до тех пор жив и народ. И нет насилия более невыносимого, как то, которое желает отнять у народа наследство, созданное бесчисленными поколениями его отживших предков. Отнимите у народа все — и он все может воротить; но отнимите язык, и он никогда более уже не создаст его, новую родину даже может создать народ, но язык — никогда: вымер язык в устах народа — вымер и народ. Но если человеческая душа содрогается перед убийством одного недолговечного человека, то что же должна бы чувствовать она, посягая на жизнь многовековой исторической личности народа — этого величайшего из всех созданий божьих на земле?»

Это высказывание — из знаменитой статьи К. Д. Ушинского «Родной язык». Автор ее не только и не просто человек ясного и светлого ума, но — и



главное — сын великого русского народа, язык которого — второй родной язык для каждого народа Советского Союза, язык, на котором общаются все народы нашей страны. Слова Ушинского свидетельствуют о том, что народ русский (вместе с которым грузины на протяжении веков думали и мечтали о будущем, о свободе, добре и красоте) и лучшие сыны его всегда являлись и являются защитниками и поборниками прав малых и угнетенных народов.

Язык, как известно, явление историческое, результат исторического развития. Но у него есть свои особые внутренние законы жизни и развития. Если верно положение Гегеля, согласно которому вместе с возникновением явления возникают и особые внутренние законы его развития, то оно вдвойне верно по отношению к языку.

Жизнь и историческое развитие языка, несомненно, переплетаются теснейшим образом с жизнью и историческим развитием народа, но язык в своем развитии не переживает таких переломов и скачков, какие происходят обыкновенно в социально-историческом развитии народа. Развитие языка — непрерывный поток, если, конечно, не прервет его течения какое-либо насильственное вмешательство извне.

Язык — величайший и прекраснейший плод неукротимого творчества народа. Народ-художник на протяжении всей своей жизни творит свой язык и каждое слово этого языка как некое произведение искусства, чтобы выразить как можно более живо, предметно, впечатляюще и красиво все то, что он видит, переживает, творит.

Народы обладают неувядаемыми творениями искусства и литературы, но самое великое и самое прекрасное творение каждого народа — его язык.

Все стороны, все ступени исторической жизни народа лучше и вернее всего отражаются именно в языке, в различных его пластах. Язык — неиссякаемый источник чувства жизни и бессмертия. Лишь посредством языка воспринимает народ духовное наследие предшествующих поколений и таким же образом передает обогащенное и приумноженное сокровище последующим поколениям. Язык — нервующийся живой нерв, проходящий через духовный организм всех поколений. Иной раз произносишь слово, и кажется, будто оно воскрешает сокровенные мысли далеких предков. Невольно на память приходят строки из стихотворения Симона Чиковани «Обращение к Серафите»:

**Я сейчас тебя встретил:  
ты прошелестела до гумна.  
Песнь, что в незапамятные  
времена пела я и ты,  
Двумя реками ныне вбегает во Мцхета.  
Твой голос сохранился в воздухе,  
Замерший, окутанный саваном  
грусти.  
Я его растревожу, чтобы повторилось  
Твое сладостное пение и нарушило  
вечный мрак<sup>1</sup>.**

В незапамятные времена пела прекрасная дева грузинская, бог знает, о чем она пела, верно, о любви, о своей печали или радости, о серебряных звездах в высоком небе, о быстром беге Куры и Арагви. Пела на древнегрузинском языке... И слова песни из глубины веков донесли до нас, людей XX века, биение сердца поющей. А какая ужасающая пустота, какой удручающий мрак простерся бы оттуда до наших дней, от Серафиты до Нато Вачнадзе и от Нато Вачнадзе до маленькой Циры или Наны или Тамрико, и какая пустота разверзлась бы в наших сердцах, если бы слово, язык не протянули живую нервующую нить от прошлого к будущему.

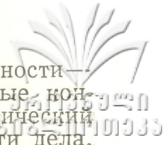
Язык — действительность мысли. Ни в чем ином не может реализоваться мысль и чувство народа, вся духовная жизнь его так, как в языке.

Разумеется, естественный выбор родного языка для каждого из нас определяется объективными условиями рождения, происхождения, воспитания, среды. Но как бы то ни было, чувство родной речи — одно из самых могучих жизненных чувств человека.

Высший естественный закон существования каждого языка — жизнь народа. Живет народ — и живет язык, на котором он мыслит, говорит, который является прекраснейшим его творением. Историческая судьба языка неотторжима от исторической судьбы народа.

<sup>1</sup> Здесь и далее перевод подстрочный.





В нашу эпоху, на наших глазах происходят события огромной важности — рушатся барьеры между народами, все шире становятся международные контакты, связи. Это — величайшее благо, которое приносит людям исторический прогресс, потому что истоки всех общественных или личных бед, по сути дела, коренятся в тех разъединяющих причинах, которые порождают вражду и противопоставление людей, народов, стран.

Или относится ли многообразие языков к тем самым разъединяющим причинам?

Существование отдельных языков примерно такое же явление, как и существование отдельных народов и отдельных индивидуумов. И как существование отдельных народов и индивидуумов само по себе не вызывает противопоставления одного другому, разъединения и вражды, так и существование отдельных языков не вызывает их противопоставления, не является причиной разъединяющей.

Вражду и рознь порождает социальная несправедливость; они расцветают там, где существуют господствующие и угнетенные классы, господствующие и угнетаемые нации.

Русский язык и русская культура всегда оказывали животворное влияние на развитие духовной культуры угнетенных народностей Российской империи, но происходило это помимо воли и желаний господствующих реакционных кругов, которые, кстати, не скрывали, что русский язык в их руках является орудием реакционной колонизаторской политики. Сам факт существования в империи различных народов и, соответственно, языков использовался правящими кругами для разжигания национальной розни.

Великая Октябрьская социалистическая революция уничтожила, ликвидировала начисто все тенденции, возможности и причины для национальной розни и для подавления одного языка другим. Впервые в истории человечества на практике, наглядно было доказано, что многонациональность и наличие различных языков не только не помеха в деле укрепления и углубления интернационализма, но именно эти факты придают особый смысл и содержание интернациональному союзу.

Людей и народы в целом объединяют и сплачивают общие интересы, идеалы свободы, независимости, равенства, мира и дружбы. Об этом прекрасно сказал Ираклий Абашидзе в стихотворении, обращенном к поэтам Востока:

**Сто языков, которыми клянемся!  
Их корни и в душе и в теле.  
Грудью защищать свободу —  
Поклялись мы на ста языках.**

Конечно, общечеловеческие цели и идеалы каждый народ и каждый человек лучше и глубже всего воспринимают через свою исторически сформировавшуюся индивидуальную сущность и прежде всего — посредством родного языка. Если я буду лишен присущего лишь мне человеческого содержания, своей индивидуальности, своего эмоционального, отличного от другого, мира, я буду таким же равнодушным, безгласным, безликим и бездейственным отражателем идей прогресса и гуманизма, как камень, отражающий солнечный свет.

Именно — и прежде всего — родной язык доносит до сердца каждого народа те идеи, которые служат основой братства и дружбы народов.

Свободному бесклассовому социалистическому обществу чуждо угнетение одного языка другим и вообще какое-либо насилие над языком, равнозначное насилию над народом.

**Язык как особый признак нации** является результатом развития и, понятно, постоянно развивается и меняется. Но свободное, естественное развитие никогда не приводит к растворению одного языка в другом, к обезличиванию его.

Мне хочется привести еще одну выдержку, на сей раз из статьи известного украинского поэта Владимира Сосюры («Литературная газета», 17/XI, 1960): «Всеми миру известна гигантская роль в популяризации родного языка, в утверждении его силы и красоты таких истинно национальных поэтов, как Пушкин, Шевченко, Мицкевич. Они почерпнули у народа свой великолепный, сочный язык и вернули его народу еще более отточенным, обогащенным. Благодаря их творчеству народы земного шара научились лучше понимать друг друга, уважать друг друга, ценить».

Но только Октябрьская революция дала украинскому народу возможность в полный голос заговорить на своем родном языке. И с тех пор он непрестанно крепнет и обогащается. От поэтов, от их активности, отражающей и выражающей



волю миллионов, многое зависит в поднятии к сияющим вершинам общечеловечности своего национального языка. Я за естественную взаимопроницаемость и взаимообогащение языков. И дело тут не в простом заимствовании отдельных слов, специфических оборотов. Я думаю, что в далеком и чудесном будущем из всех национальных языков на основе их равенства и братства возникнет новый, общечеловеческий язык, на котором будут говорить наши потомки — люди коммунистического общества. Но это произойдет не путем нивелировки языков, не путем подчинения одного языка другому. Это станет возможным только при полном, всестороннем развитии каждого языка».

Мы, советские люди, не можем не любить свой родной язык. Однако эта любовь полностью исключает не только враждебное, но даже просто равнодушное отношение к другим языкам: наша безграничная любовь к родному языку озарена духом братства и равенства всех языков. В условиях равного, свободного и всестороннего развития все народы и все языки войдут в прекрасное будущее со всеми приобретенными ими духовными ценностями, со всем своим духовным богатством.

Возможно, в практическом общении людей разных национальностей различие языков создает определенные затруднения, но ведь зато какую огромную роль играет родной язык каждого народа в создании ценностей его духовной культуры! В то же время, эти затруднения сводит на нет, с одной стороны, развитие искусства и техники перевода, а с другой — рост интернационального сознания людей и овладение межнациональным языком.

Развитие же техники перевода, быть может, в скором времени приведет к изобретению аппаратов, с помощью которых определенные импульсы будут передавать понятия или систему понятий одного языка людям, говорящим на других языках, в соответствующей языковой форме.

Как знать, если и вправду такое возможно, это сослужит службу и космонавтам, если им доведется встретиться с сознательными существами какой-либо из планет...

Вопрос исторической судьбы языков, как видите, завлек нас очень далеко, в область фантазии. Но, думаю, не такой уж это большой грех — ведь чувство родного языка идет из самых сокровенных глубин души народа и затрагивает самые неожиданные струны сердца.





# ТЕПЛО

# РУК ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ

ГЕРОИ СУЛИКО ЖГЕНТИ  
 НА ЭКРАНЕ

Характерной чертой грузинского киноискусства 60-х годов является то, что в него пришли герои подлинно национальные, чувствующие свою связь с землей, которая взрастила их, связь с народом, с историей. Именно это определяло их стойкость и оптимизм в самые трагические моменты жизни. Опираясь на глубоко разработанный национальный характер, кинематографисты смогли правдиво рассказать не только об одной конкретной личности, об одном уголке земли, но и поведать зрителям о сложном современном мире, сказать свое слово о времени, в котором мы живем. Три фильма, снятые по сценариям Сулико Жгенти, позволяют увидеть одно из направлений в грузинском киноискусстве, во главу угла поставившего проблему личности и истории.

Сценарий С. Жгенти «Думы матери» был удостоен первой премии на конкурсе кинодраматургов, проводившемся в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. Экранную жизнь дали ему режиссеры Шота и Нодар Мангадзе. Актриса Софико Чиаурели сыграла главную роль в фильме, получившем название «Тепло твоих рук». Он отмечен премией, как лучший фильм о современном советском человеке на V Всесоюзном кинофестивале, а С. Чиаурели удостоена первой премии за исполнение женской роли. (Мы упоминаем об этих премиях, поскольку в них — признание за создателями картины большого успеха в разработке темы, о которой пойдет речь в статье).

Действие фильма происходит в гурийской деревушке, и героиня его никогда не покидала своего дома. Но перед нами — фильм-путешествие по жизни, во времени. Ветер социальных перемен, со-

бытия, происходящие, на первый взгляд, далеко от этого тихого уголка, меняют и здесь человеческие судьбы, характеры, ломают строй жизни. Рассказать о нашем времени, о пятидесятых годах истории нашей страны на примере одной человеческой судьбы, причем судьбы обычной, ничем не выделяющейся, показать нам время глазами героини, рассказать о нем ее устами — такова сложнейшая задача произведения.

«Все, что делалось на белом свете, — все прошло через этот двор», — скажет старая крестьянка Сидония. И она скажет чистую правду. Эпизодов в картине, собственно, немного, но каждый из них — это целый этап жизни героини, а значит, по замыслу автора, жизни народа.

Уже краткий пересказ содержания картины говорит о сложности, стоявшей перед кинематографистами. Действительно, ведь основными действующими лицами событий, показанных на экране, являются близкие Сидонии — ее муж, сыновья, дети, соседи, родственники, а не она сама. Почему же героиней произведения мы называем Сидонию? Действительно, что делает Сидонию? Она редко, но активно вмешивается в события, гораздо чаще наблюдает, комментирует, узнает о чем-то, переживает. Ведь весь фильм — это воспоминания героини, а в воспоминаниях гораздо ярче проявляются события, чем собственные поступки. Сценарий назывался «Думы матери», а это подразумевает совершенно личный подход к изображаемым событиям, выражение своего отношения к ним, то есть содержание фильма должно раскрываться как бы изнутри, из тайн человеческой души, в нем должно быть что-то сокровенное, окрашенное неповторимой личностью героини.



Сидония могла стать героиней фильма только в том случае, если силой внутреннего бытия актриса оказалась бы сопричастной тому, что происходит на экране, если именно ее глазами мы увидели бы экранные события, если ее суждения о справедливости, добре, любви мы посчитали бы своими.

Почему ей дано такое право? Потому, что ею прожита жизнь труженика, того самого незаметного человека, которого авторы картины делают хранителем лучших человеческих традиций, главных нравственных достижений человечества. Потому что она добра и справедлива, умна и находчива, потому что она жена и мать, воплощение создающего начала и творческой бесконечности жизни. Нет, ничего особенного не делает в фильме Сидония. Она просто живет на земле, и за это мы должны быть ей благодарны.

На протяжении фильма образ Сидонии не получает развития в привычном для нас плане. Первый эпизод воспоминаний: Сидонии восемнадцать лет. Он мимолетен. Актриса успевает создать лишь детали внешней характеристики образа, запоминающуюся пластику, легкую, пританцовывающую походку, молодой и озорной блеск глаз, задорный смех — все, что должна сохранить до конца ее героиня. В следующем кадре перед нами взрослая женщина, мать пятерых детей, человек сложившийся, зрелый и именно в силу этого готовый воспринимать новое. Такой останется она до самого конца. Именно эти заданные качества, унаследованные от предков и, в свою очередь, переданные детям, роднят героиню картины с Георгием Махарашвили и Лукой Эрхомаишвили, подчеркивают эпичность характера. Трудно преувеличить сложность задачи, стоявшей перед актрисой. Вспомним: внутренний монолог Сидонии мы слышим в самом начале картины. Это всего одна фраза — для создания настроения; авторы картины больше не воспользуются этим приемом. Но атмосфера этого монолога сохраняется в лучших эпизодах фильма, где Софиго Чиатурели находит краски для внутреннего раскрытия характера героини на разных этапах ее жизни — читай, жизни народа.

Однако до того момента, как драматургия фильма «Тепло твоих рук» предоставит актрисе возможность действительного проявления характера, пройдет довольно много экранного времени. Зрители успеют познакомиться с Ясоном, с соседями и друзьями Сидонии, окунуться в ярко воссозданный режиссерами быт деревни. А характер героини до конца еще не раскрыт. Но вот в беду попадает Апрасион. За ним, вожакom деревенской молодежи, гонятся с оружи-

ем в руках бандиты-мятежники. И здесь впервые прозвучит основная тема характера Сидонии — тема материнства. Апрасион прячется в родном доме. Бандиты окружают его. Их много против одной безоружной женщины. Но эта женщина — мать. А что может противостоять матери, защищающей своего сына? К ногам преследователей летит одежда Сидонии, и мы слышим ее голос: «А теперь входите, если совсем потеряли стыд и совесть!» Нет, теперь они не поспеют войти в дом. Бандиты знают, что деревня осудит их.

Эпизод этот короток, стремителен по своему ритму. Но здесь во всю мощь проявляется страстный темперамент актрисы, тема раскрывается во всей своей значительности и глубине, появляется дыхание подлинного драматизма.

Почти следом за этим эпизодом следует комический и довольно длинный эпизод, в котором, по плану Сидонии, женщины с детьми отправляются в горы к мужчинам, которые спрятались там, боясь после мятежа вернуться в деревню, несмотря на обещанное прощение. Пришла пора уборки винограда, жены соскучились по мужьям, и вот они приходят к убежищу, оставляют там детей и уходят. Что делать в лагере с детьми? Мужчины вынуждены возвратиться в деревню.

Поначалу кажется, что и здесь Сидонии предложена роль наблюдателя — у нее ведь мужчины дома, она пришла сюда только для того, чтобы помочь подругам и соседкам. Но на самом деле Сидония руководит женщинами. В данном эпизоде проявилась не просто хитрость крестьянки, знающей, как повлиять на мужчин. Здесь уже гордое сознание своего права участвовать в жизни, вершить ее своими руками. Новые интонации звучат в ее голосе:

«Вот до чего мы дошли, друг друга готовы перестрелять! И вообще, мужики, вам еще не надоело без дела шататься? Идите-ка домой и позаботьтесь о своих семьях».

А потом, обращаясь к Беглару, зачинщику мятежа, уговаривающему мужчин не верить обещаниям новой власти, она сурово добавляет: «А тебя не обещали простить. Ты за все ответишь».

Именно в такие минуты мы убеждаемся, как велики возможности актрисы, именно в такие минуты жалеем, что первая половина картины не дала ей драматургического материала для их выявления.

На общем собрании крестьян Апрасион агитирует вступать в колхоз. Авторы картины нашли яркие краски для того, чтобы подчеркнуть здоровый оптимизм, любознательность крестьян, населить экран выразительными лицами, насытить шуткой, смехом, в которых





как бы чувствуется предвкушение новой и более счастливой жизни. И время от времени мы видим Сидонию. Ее глаза, с гордостью и восторгом следящие за сыном, лицо, то напрягающееся, то улыбающееся. Но ее интонация в поведовании появляется только в тот момент, когда раздается предательский выстрел и с криком «Мама!» падает Апрасион. Жестче стали губы, поседелі волосы, а взгляд еще более подобрел и помолодел. Снова на трагическом изломе проявляется характер матери — именно так, страдая, отдавая самое дорогое, приходится ей познавать мир.

И после этого первого истинно трагического события Софиико Чиаурели и ее героиня уже полностью овладевают вниманием зрителя. Здесь впервые воспоминания обретают интонацию настоящего внутреннего монолога. Все вокруг освещено ею — ее любовью к детям, нежной заботой о муже, ее умением оставаться в тени и быть самой главной, потому что ее теплом, теплом ее рук держится мир.

Темп картины становится четче, эпизоды короче. Но внутреннего ритма произведения это не нарушает. Сидония тихоно поднимается по ступенькам школы. Осторожно заглядывает в класс. Дочь Эка стала учительницей. Как не посмотреть на нее — вон сколько детишек не отрывают от нее глаз.

Вся деревня провожает в город Арчила учиться — еще один птенец оперился и покинул гнездо. Настало время Левану строить свою семью, но ему не суждено было узнать счастье мирной жизни. Именно его отняла у Сидонии война. Известие о смерти приходит в ясный осенний день. Нег сил вынести эту муку. Но надо пощадить Ясона, не дай бог свалится с дерева. Голос ее не дрогнул, когда она крикнула мужу: «Ясон, хватит на сегодня. Спускайся вниз...». Как велика внутренняя сила актрисы, поразительно неисчерпаемы ее возможности для передачи душевного состояния героини! Раньше это был бы взрыв горя, крик, взлет рук. Сейчас несчастье как бы убило Сидонию. Безмолвно распростертой на земле находит ее Ясон.

Ярче всего личная интонация раздутия и воспоминания прозвучала в эпизоде, где Сидония узнает о победе. Для каждого, кто пережил войну, день этот связан с самыми интимными, сокровенными чувствами. Как передать это ощущение радости, счастья за свою страну, за весь народ и горечь и боль за тех, кто не дожид, не дошел... Какие слова найти? Как обыграть их?

На телеге в дождь едут Сидония и Ясон. Медленно идут волы, месят грязь.

Старики накрылись мешком и тихо вспоминают свою жизнь:

— Эх... постарели мы с тобой, Сидония, постарели, почти полвека глядим друг на друга, — говорит Ясон.

(Мы слышим продолжение или даже окончание долгого разговора, который могут вести только люди, прожившие долгую совместную жизнь).

— А разве это плохо? — спрашивает Сидония.

— Как в сказке: жили они вместе долго и умерли в один день. Сипито! Что за улыбка, а? — спрашивает вдруг Ясон.

— Радость, Ясон, победа! Закончилась эта проклятая война...

И все так же идет дождь, идет по воде Сидония, Ясон ведет волов. Режиссеры не воспользовались даже крупными планами героев. Они тщательно, бережно сохраняют атмосферу доверительности, откровения... И перед нами возникает поистине обобщенный образ женщины-матери, оплакивающей всех павших в битве сыновей...

К 1965 году, когда создавался фильм «Отец солдата», тема Великой Отечественной войны имела уже свою большую традицию — от военной хроники, первых игровых лент, помпезных, эпических полотен, через открытие судьбы простого человека в условиях военных будней, философские метафорические картины к новому этапу документального воссоздания истории со всей точностью и достоверностью.

Сулико Жгенти в «Отце солдата» не делал открытий. Интуиция художника подсказала ему особый взгляд на прошлое. Следом за сценаристом и режиссер увидел в прошлом то, что позволяло связать времена. Ему надо было создать совершенно реальную атмосферу войны, со всеми ее ужасами, жестокостью, кровью и смертью. Ибо основным драматургическим конфликтом произведения стал конфликт коллизии и образа, существующего в этой коллизии, но прямо ей противостоящего. Война реальна, но герой в ней нелеп и неестествен. Происходит остранение характера ситуацией и ситуацией характером. И смысл картины в том, что первое ощущение нелепости и неестественности героя поворачивается к нам обратной стороной. Герой становится естественным и единственно нужным, ибо олицетворяет созидающее, творческое начало человека, носителя самых больших нравственных ценностей. Война же оборачивается своей нелепостью, неестественностью, зловещей силой, противостоящей человеку.

Смысл всего произведения именно в этом противоречии. И заслуга его создателей прежде всего в том, что они смогли довести его до подлинно творче-



ского звучания, рассказав не просто историю одного человека на войне, но подняв его до символа Человека Земли, вставшего против насилия и разрушения.

Образ Махарашвили стабилен и неизменен. Герой может пережить горе и отчаяние, вспышки раздражения или горячую непонимания, но не изменит своим внутренним установкам. Образ не развивается, он раскрывается, причем направление этого раскрытия четко определено.

Старый крестьянин, всю свою жизнь отдавший земле, убежденный в верности и справедливости законов, по которым жил не только он, но и его предки, попадает в незнакомую страну. И это страна, на территории которой идет война. Здесь действуют иные нормы, иные законы. Махарашвили с трудом их понимает, с трудом приспосабливается к ним. Он принимает происходящее, готов подчиниться ему, но прочно живет в нем крестьянское начало, от которого он никогда не отречется.

Земля для него — повсюду земля. Она дана человеку для трудов, для мирной жизни. Он помнит об этом и в Германии. Остервенело накинется он на молодого танкиста, танком давящего виноградные лозы. Его логика и наивна, и справедлива. Он опасается за молодых, прошедших суровую и страшную школу ненависти. Война не должна озлобить, ненависть к врагу не должна выжечь из сердец людей справедливость и доброту...

Уже в сценарном замысле проступают черты трагикомедии. Не раз декларируя свою приверженность к этому сложному жанру, корни которого гнездятся в народных традициях, режиссер Р. Чхеидзе на практике доказывает его жизнеспособность. Действительно, Махарашвили трагикомичен в первых частях фильма, приемами трагикомедии режиссер и в дальнейшем открывает для нас те черты героя, которые нам так близки, понятны. Но в самых накаленных эпизодах трагикомедия уступает место самой высокой трагедии. Вот на наших глазах происходит как бы приспособление, «притирка» героя к новой реальности. Но это ощущение обманчиво. Во весь рост, во всем своем бесчеловечном облике встает на пути Георгия война. И Георгий понимает, что место его здесь. Не смешно и не нелепо он, когда пытается спасти хлеб, вынести на руках случайного своего попутчика, когда впервые убивает немца — ибо не место ему на этой земле. Человек труда становится человеком войны. Все неестественное, нелепое вокруг должно быть им уничтожено.

Закариадзе не поднимает своего героя, не ставит его на котурны, не про-

износит высоких слов. Он просто сливается с Георгием, и войну мы воспринимаем именно его глазами. Трудно описать приемы, которыми пользуется актер. Палитра его огромна и многокрасочна.

В этой своей лучшей, пожалуй, роли он демонстрирует высокую любовь к людям, интернациональный дух. В его трактовке Георгий Махарашвили — характер цельный и емкий, в нем сконцентрирована добрая воля Людей Земли. Но тенденция при всей ее ясности и отчетливости не наложена на образ и не существует сама по себе. В письме к Минне Каутской Фридрих Энгельс писал: «...Я думаю, что тенденция должна сама по себе вытекать из положения и действия без того, чтобы на это особо указывалось, и что писатель не обязан подносить читателю в готовом виде будущее историческое разрешение изображаемых им общественных конфликтов». В связи с фильмом «Отец солдата» хочется добавить: тенденция должна сама по себе вытекать из положения, действия и характера. Тенденция в этом случае воспринимается как отображение мировоззрения Георгия Махарашвили, от которого он неотделим. Он не становится резонером не потому, что в речах, словах, делах его нет ничего резонерского, ведь он и поучает, и объясняет, и настаивает на истинности своих предостережений о жизни, но потому, что он резонирует в исключительных условиях. И актер убедительно раскрывает именно эту особенность положения героя. Его герой вынужден так себя вести. Окажись он в естественной для себя ситуации, он бы, вероятно, как это происходило в первом эпизоде, молча подвизывал лозы. В каждом эпизоде актер находит внутреннюю мотивировку поведения автора, которая вытекает из сущности его жизни.

Актеру отданы по существу все полномочия. И сценарный, и режиссерский замысел и взгляд операторской камеры подчинены его существованию. Создателей фильма в первую очередь интересует Георгий Махарашвили как бастион, как страна, как немая самоценная реальность. Они стремятся раскрыть первопричины существования такого характера, такого типа, приоткрыв истоки, фундамент, на котором он вырос. Национальное, народное здесь нерасторжимо с индивидуальным, с характерным, а тенденция — с интернациональным. В такой постановке вопроса — причина победы кинематографистов.

Актуализируя проблематику, создатели фильма «Отец солдата» разрушают обычную систему, в которой герой чаще всего был адекватен ситуации или ее основной тенденции. Георгий Махарашвили проявляет себя в ситуации, как:



уже было сказано, не органичной для себя. И это нужно создателям фильма для того, чтобы основная мысль, основной пафос образа не были стерты или излишне приземлены обстоятельствами, обычно сопутствующими этому образу. В системе фильма герой опирается на знание зрителями гуманных, мирных законов нашего общества, соотносит их с вечными законами жизни простых людей всего мира. Кинематографисты ощутили возможность такого способа воплощения характера.

Совершенно очевидно, что в самом характере героя таились огромные возможности. Георгий Махарашвили не мог и не должен был умереть в фильме «Отец солдата» именно потому, что утверждал нравственные ценности, обладающие конкретным и универсальным смыслом. В то же время обаяние характера было настолько велико, что никого не удивило появление нового сценария С. Жгенти — «Саженцы». Плодотворность обращения к образу, явно наследующему Георгию Махарашвили, тоже не подлежала сомнению. Однако авторы нового фильма — Сулико Жгенти и Резо Чхеидзе — столкнулись с трудностями как ожидаемыми, так и неожиданными.

Лука Эркоманшвили из маленькой деревушки Самеба отправляется в путь — в общем не очень далекий, занимающий всего несколько дней — за саженцами грушевого дерева хечечури. Его сопровождает любимый внук Кахабер. По пути дед и внук переживают ряд приключений, сталкиваются с разными людьми, хорошими и дурными. В конце концов они возвращаются в родную деревню, но... без саженцев. Старик подложил драгоценные деревья под колеса повисшего над пропастью автобуса, чтобы спасти ехавших в нем детей.

Построение сценария предельно просто: фильм-путешествие, встречи, раскрытие характера героя в разных перипетиях сюжета. Герой вновь извлечен из привычной среды, обычного для него окружения. Он покидает свою деревню, где каждый шаг человека на виду, где ритм событий замедлен, где человеческая жизнь длится как будто бы дольше... Мир, в который попадает Лука Эркоманшвили, для нас — нормальный мир. Мы привыкли к его ритму, кaley-доскопу лиц и событий. Но для Луки этот мир раскрывается во всей значимости и масштабности, причем он не заслоняет от нас героя, наоборот, мы видим мир его глазами, оцениваем его критериями, проверяем пороки и добродетели, соотнося их с нравственными устоями старика. И это естественно. Образ Луки нес в себе много соблазнов. И один из них — сделать Луку символом народной чистоты и мудрости, кра-

соты духа и неувыдаемой молодости. Нехитрая символика фильма заложена в образе героя и в цели его путешествия. Саженцы хечечури дадут плоды через двенадцать лет — цифра астрономическая для тех, кто сегодня же хочет получить награду и благодарности за свои добродетели. Но для Луки это не имеет значения. Ведь плоды хечечури — это плоды того душевного здоровья, которое он завещает своему внуку, которое щедро раздает знакомым и незнакомым, не думая о немедленном вознаграждении.

Все это задано в экспозиции — в первой же части сценария. Мы ждем не развития образа, а лишь постоянного проявления, той же концентрации духовной жизни, которая так привлекала в Георгии Махарашвили. И сценарист предоставляет герою самое широкое поле деятельности. Не выезжая за пределы Грузии, он становится участником разнообразных событий.

Вот один эпизод — дед с внуком продолжают путь в автобусе с американскими туристами. И опять Лука — в центре событий. И не просто потому, что его колоритная фигура привлекает туристов, но потому, что твердая вера в здоровье мира, в будущее Земли не может не притягивать к себе людей разных национальностей. Американский фермер поражен: двенадцать лет ждать плодов грушевого дерева! Мир может погибнуть за это время от взрыва атомной бомбы. Послушайте, что отвечает на это герой:

«...Когда белый свет создавали, человека не спрашивали, когда придет пора миру кончатся, опять, надо думать никто человека не спросит. Наше дело — знай работай. Бог даст, дети спасибо скажут».

Случай привел путников в дом, где поселилась смерть. Волей обстоятельств Лука становится вестником несчастья. Чужая беда, смерть, причитания над умершим — все это пугает мальчика. Но дед, уже проживший долгую жизнь, грустен и спокоен: «Такова жизнь. Если бы не было смерти, не было бы и рождения...».

Путь домой автор сценария обозначил символическим заголовком «Путь добра». Потому что путь домой отмечен саженцами хечечури, которые дед высаживает в землю по дороге, как бы оставляя людям прекрасную память о светлой прожитой жизни. Деревца юны, хрупки, трудно им перенести тяготы пути. И дед торопится дать им новую жизнь. И снова встречи. Но теперь дед спешит. И если по дороге туда авторы позволили себе отвлекаться и иногда даже терять из виду саму цель поездки — саженцы, теперь именно они в центре внимания. И жанр фильма-путешествия уступает



место фильму-притче. Окончена большая жизнь большого человека. В смерти героя нет трагичности, а только просветленная грусть. Лука уходит, потому что он окончил свой путь, сделал все, что мог сделать, передал внуку все, что знал и умел, научил его добру и верности труду. Вспомним: если бы не было смерти, не было бы рождения.

«Если хочешь узнать человека, иди с ним в дальний путь» — гласит древняя грузинская пословица. Мы прошли этот путь с Лукой Эркоманишвили, не короткий путь за саженьями хечечури, но долгий путь его жизни. И вместе с нами всю дорогу шла песня. Не просто песня-сопровождение, но песня, в которой — дух народа, его красота и творческая сила. В последних кадрах ее поет уже не старческий голос, а юный и сильный голос мальчика, словно утверждая — эстафета принята.

Скажем прямо, анализ фильма «Саженьцы» доставил автору определенные затруднения. До сих пор речь шла о сценарии фильма, опубликованном раньше, чем картина вышла на экраны. Но вот фильм представлен на суд зрителей и, конечно, требует уже нового анализа с учетом всех кинематографических средств. Возможно, следовало начать сначала. Но сценарий «Саженьцев» уже живет своей жизнью, забыть его, отказаться от навеянных им впечатлений, нам кажется, было бы неверно. Сценарий и фильм располагают скорее к сопоставлению, размышлению, и не только потому, что ряд эпизодов сценария заменены другими или опущены вовсе. Для нас важен конечный результат, ибо авторы, очевидно, подводят этим фильмом итог определенной теме своего творчества.

Однако и изменения в сценарии тоже значимы сами по себе, например, изменение кульминации картины. В сценарии Лука спасал автобус с детьми. В фильме он спасает грузовик с солдатом-шофером, который сам виноват в том, что едва не погиб. Шофер уезжает, приветственно помахав рукой и даже не сказав спасибо. Дело не в том, что жизнь одного шофера-лихача менее важна, чем жизнь ни в чем не повинных детей. Человеческая жизнь самоценна, и нельзя положить ее в данном случае на чашу весов. Но если первый вариант принадлежал притче, то второй — вполне реальной жизненной ситуации и оставляет чувство разочарования. Ведь весь фильм полифоничен. Тема цельности и чистоты большого человеческого характера, оставляющего след на земле, неразрывно связана с темой наследования лучших традиций, человеческого опыта, творческих сил народа. Обе они постоянно звучат в картине. Этот кульминационный момент картины как

бы ставил точку в развитии второй темы, одновременно высветляя смерть Луки. Можно кстати сказать, что подлинное звучание этой темы во многом зависело от образа спутника Луки — внука Кахабера. Роль эта вызывала сомнения уже в сценарии, ибо она не имела значительного драматургического материала. Характер мальчика не только не развивается, но и не раскрывается. Кахабер сопровождает деда, наблюдает за ним, учится, но он лишен возможности проявлять свое отношение к событиям, выразить свой взгляд на мир. Кинематографическое воплощение образа не ожидало роли. Мишико Месхи хорошо держится перед камерой, в нем есть обаяние, пластичность. Но нет главного — нет широко открытых в мир глаз мальчика, который учится жизни, нет непосредственности восприятия, той затаенной духовности, которая обещает в ребенке незаурядную человеческую личность. Он ведь тоже должен принадлежать притче, а он слишком обычен, слишком жизненен для этого. Правда, вряд ли можно требовать от ребенка того, что под силу лишь талантливому и опытному актеру. Поэтому эту потерю мы воспринимаем как естественную, ожидаемую.

Тем больше надежд возлагаем мы на героя, ибо нам вновь предложен монофильм, где образ героя — единственный организующий компонент произведения. Определенные сложности стояли перед прекрасным театральным актером Рамазом Чхиквадзе еще и потому, что он не мог уйти от неизбежного сопоставления своего героя с Георгием Махарашвили, от него ожидали такого же слияния с образом, той же высоты нравственных пиков, такого же накала духовной жизни. Но его герой должен был быть совершенно непохож на героя С. Закариадзе, и с этого внешнего противопоставления начал Чхиквадзе.

Среда, в которую попал Георгий Махарашвили, обязывала к аскетизму в ее изображении. Обрисовка среды, в которую попадает Лука Эркоманишвили, наоборот, требует красочности и даже многословия. Потому что теперь фон — не просто вспомогателен, но значим сам по себе. В «Отце солдата» экзамену подвергался человеческий опыт, накопленный веками: характер и среда вступали в конфликт. В «Саженьцах» герой и среда неконфликтны. Высшая нравственность старика очевидна, задана в первых кадрах фильма и не требует доказательств. Приключения Луки помогают высветить характерность образа и вынести свое суждение об окружающих людях, обычаях, законах, как бы проверяя их высшую справедливость на том, соответствуют они понятиям героя или нет. Георгий стал фигурой геронче-





941036340  
1010333

ской. Сила Луки именно в его обычности, в том, что он не совершает выдающихся деяний, а просто мирно трудится на земле. И на этого простого человека нам опять-таки предлагают взглянуть очень пристально и в ярко национальном характере найти тот общечеловеческий, интернациональный смысл, который и поднимает его на огромную высоту.

Кинематографисты—создатели фильма еще раз доказали своим творчеством, что их принцип точного, выверенного построения характера несомненно плодотворен. Да, сценарий композиционно прост, как ясен характер, стоящий в центре произведения.

Рамаз Чхиквадзе появляется перед зрителем — изящный, несколько даже изысканный, обаятельный и все-таки неуловимо театральный в национальном костюме и старомодных круглых очках в железной оправе. Он прекрасно чувствует себя в жанре трагикомедии, к которому вновь обращается режиссер. Мы с удовольствием следим за тем, как уверенно, в высшей степени профессионально ведет он свою роль, как великолепно использует богатство драматургического материала. Он бывает чудак, комичен, но он всегда — в центре повествования. Он находит самые разнообразные краски для Луки. Каждая из характерных черт героя предельно разъяснена актером, но не всюду у нас остается ощущение той ответственности и абсолютного слияния с образом, которые совершенно необходимы для картины. Иногда нам кажется, что многокрасочно и ярко нарисованная современная жизнь проносится мимо Луки, не

оставляя ему возможности найти в ней свое место.

Порой происходит обратное: в эпизоде — богатый материал, но актер однообразен. Он уже сделал в нем все, что мог, а от него требуется продолжать жизнь, проявлять себя, чтобы оправдать свое существование на экране. И тогда рождается многословие, повторы, топтание на месте. Пример этому — отсутствующий в сценарии эпизод, где Лука все-таки получает саженцы у старика-садовода, ворчуна и нелюдима, который должен быть абсолютно уверен, что отдает деревца в надежные руки.

Самой большой удачей актера и фильма вообще явилась дорога домой. Исчезла театральность Чхиквадзе, в единое целое слился герой с окружающей его жизнью, проявилась поразительная цельность характера, напряженная внутренняя жизнь сменила внешние ее проявления. Смена эпизодов уже не мешает нам следовать за Лукой Эрнумаишвили, ибо в каждом из них — только то, что необходимо актеру. Появляется новая интонация — задумчивая, грустная, с удивительной искренностью прозвучавшая в эпизоде встречи Луки с его бывшей возлюбленной. Невысказанная горечь, растерянность и сменяющая их умиротворенность финала.

Трудно сказать, исчерпали ли авторы картины свою тему. Возможно, они вернутся к ней. Для нас важно другое — важен нравственный итог произведений, в которых ярко и талантливо выражено кредо кинематографистов — создать типический характер человека, подлинного героя своего времени.





Михаил ЗАВЕРИН

**Проблемы перевода**

# Когда поэт с поэтом говорит...

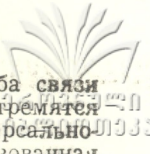
Поскольку «общая теория», проводя сравнительное изучение языков, выявила разительные несовпадения семантики слов, информации, заключенной в формально близких грамматических и синтаксических конструкциях различных языков, поскольку она, проводя историческое изучение языков, обнаружила «внутри них» не неизменные параметры, а исторически конкретную, социально своеобразную, индивидуально неповторимую «речь», постольку она, и закономерно, в качестве критерия оценки перевода выдвинула буквальную семантическую точность лексики, а не ее формально-конструктивное буквалистское соответствие лексике исходного языка, семантическую точность «грамматических конструкций», а не их прямое подобие грамматической системе подлинника, семантическую точность синтаксических построений, а не их «внешнее» соответствие синтаксису оригинала. Будучи нацеленной не на поиски «инвариантов смысла», не на «как будто» смысловое подобие, а на конкретно историческую семантическую точность, общелингвистическая теория выработала и свою технологическую схему перевода: от интерпретации смысла исходного элемента, от установления его места в исходном речевом потоке — к поискам «определенных, во многих случаях формально далеких» речевых средств в системе переводного языка (сравните эту схему с машинным «собственно переводом»: там исходный языковой знак прямо заменяется «формально близким» переводным языковым знаком, ибо вся «работа» по интерпретации, по установлению специфических закономерностей функционирования языковых знаковых систем выполнена еще до акта перевода, выполнена единожды и навсегда).

Не удивительно, что общая теория все более настойчиво и последовательно открещивается теперь от рассмотрения специальных, существенных сторон художественного перевода. «В книге, — фиксирует Федоров особенности нового издания своего труда, — теперь не рассматриваются вовсе специальные вопросы поэтического перевода, требующие несравненно более глубокого анализа, чем это было сделано в первом издании работы, и составляющие особую область исследования». За пределы книги выводится не только поэзия, но и художественная литература вообще. «Ставя в центр внимания перевод как языковую проблему, — поясняет автор, — воздерживаемся здесь «от решения специально литературоведческих вопросов художественного перевода...».

Но ведь подобные формулировки можно найти и в статьях самых горячих ревнителей теории машинного перевода. Разве они не призывают к отделению явлений, которые «могут и должны быть описаны с лингвистической точки зрения, от явлений, описание которых требует привлечения методов и понятий поэтики»? Разве не Ревзин и Розенцвейг, из книги которых взята последняя цитата, упрекают Федорова за то, что он «оперирует литературоведческими понятиями, рассматривает перевод как результат творческого процесса, говорит о неразрывном единстве содержания и формы, о передаче национального и художественно-стилевого своеобразия подлинника, о воссоздании образа» и т. п.? Да, конечно, и теоретики машинного перевода видят различия между поэтикой и лингвистикой, между «текстами» художественными и научными. Но,

Продолжение. Начало в №№ 11, 12 за 1974 год.





призывая к выявлению различия их структур, «ассортимента и способа связи элементов», порождающих художественный или научный текст, они стремятся при помощи большей формализации добиться создания единого, универсального «коммуникативного языка». Ясно, что такая выявленная, формализованная знаковая структура поэтического, например, текста могла бы быть прямо переведена, как не раз указывали «программисты», в «текст», построенный по законам «внутренней лингвистики». «Никто не отнимает у лингвистов права думать, что язык может быть и «первоэлементом литературы» (Горький) и что речевой акт может быть творческим. Но тем не менее язык может просто сообщать, и то, что он сообщает, можно и нужно довести до адресата любым удобным способом, в том числе — при помощи машины», — декларируют свой символ веры П. Кузнецов, А. Ляпунов, А. Реформатский в статье «Основные проблемы машинного перевода».

Иначе говоря, для теории машинного перевода — при наличии формализованных моделей знаковых структур — осуществим любой межсемиотический прямой «собственно перевод». Качественные же «разночтения текстов» — при таком подходе — это только разночтения знаковых систем, за которыми кроется «инвариантность смысла». Добавлю, что «возможность прямых соответствий» подкрепляется, конечно, доказательствами не только теоретическими, но и фактами практическими: создан же, дескать, язык эсперанто, и не слепотой ли было бы отрицать саму возможность прямого перевода с эсперанто на любой естественный язык?! И далее: не консерватизмом ли нашего мышления объяснялось бы неверие в возможность прямого перевода с любого национального языка на любой национальный язык при помощи эсперанто — «языка-посредника»? А ведь эсперанто — далеко не идеал «метаязыка», ведь могут быть созданы и значительно более совершенные модели «языков-посредников»! И не только для лингвистической системы, но и для всей системы семиотической. Тогда-то любое стихотворение прямо будет переводиться на язык «научных текстов», а любой звуковой образ найдет прямое соответствие в образе зрительном... Такой перевод не за горами, нужно только быть последовательным в терминологии, помнить постоянно о создаваемом едином интересемиотическом метаязыке и не впадать в искушение «литературоведческих изысков»...

Теперь, думается, понятна природа упреков, которые Ревзин и Розенцвейг адресовали Федорову за «оперирование литературоведческими понятиями»? Явления, которые могут и должны быть описаны с лингвистической точки зрения, необходимо отделить от явлений, которые могут и должны быть описаны с точки зрения поэтики. Без такого размежевания, учит теория машинного перевода, нельзя выработать «метаязык», который отфильтрует в себе наиболее общее, существенное в различных знаковых системах. И тогда... все препятствия на пути интересемиотического перевода будут устранены.

Но «Общая теория перевода», как следует из самого существа «сравнительно-исторической лингвистики», и скромней, и ограниченной в своем «перспективном планировании. И каждый день все более... Она, не дробя «орудия мысли» на язык и речь, сравнивая не знаки разных языков, а конкретные семантически наполненные — но трактуемые буквально! — образцы речевой коммуникации, не «занимаясь» прямым переводом «формы» знака в знак, даже внутри лингвистической системы притерживаясь принципа изменчивости Слова, необходимости его исторической интерпретации, и не загадывает о прямом переводе одной системы в другую. Тут — считает она — требуются какие-то качественно особые, утонченные способы «взаимопередачи» смысла. И это, по мысли «традиционной лингвистики», никак не в компетенции языковедения.

\* \* \*

Если «пессимисты» утверждают, что машине не под силу перевод даже научного текста, «выходящего за рамки элементарных, формально и однозначно определяемых правил функционирования языка», если «оптимисты» надеются, что машине, поскольку возрастает возможность «формального описания объекта», удастся справиться и с воспроизведением художественной, литературной формы, то спокойный взгляд на положение вещей свидетельствует о том, что в перспективе у машинного перевода есть своя, но далеко не всеобъемлющая практическая область применения. Она определяется не только специфичной структурных уровней различных «языков» — искусства, литературы, науки, но и специфическими возможностями внешней лингвистики, изучающей влияние географических, общественно-исторических факторов на развитие и функционирование языка и лингвистики внутренней, изучающей организацию языка, систему правил, законов, обеспечивающих его функционирование. И главное — машинный перевод, столь буквалистски действующий в сфере образного, художественного слова, может и должен помочь исследованию многих серьезнейших





проблем информационной теории перевода, изучению знаковых систем, <sup>взятых</sup> со стороны их содержательной формы. Впрочем, структурная лингвистика, видимо, не исключает, а лишь дополняет изучение языка с позиций «традиционной лингвистики», переводческая теория которой, выражаясь высоким слогом, способна на ниве художественной литературы давать, в свою очередь, лишь всходы буквальности. Постигая семантические тонкости «текста», она, создавая свою теорию перевода, также и практически вовсе не лишена поля деятельности: различие речевых стилей и стоящих за ними социальных, культурных срезов общества — вот, думается, в самой общей форме, границы ее применения.

Парадоксальность переводческого искусства заложена, на первый взгляд, в самой его основе. Поэт, обратившийся к созданию чужой музыки, уже самим фактом такого обращения принимает на себя, казалось бы, множество важнейших и существеннейших ограничений. Пред ним — законченное произведение, живущее по собственным внутренним законам, «протестующее» против любого «самоуправства и своеволия». Но однако... творчество не терпит насилия над свободным полетом вдохновения, и вот уже равнодушный читатель, с нескрываемым раздражением скользя взглядом по безжизненному столбу строчек, с презрением отодвигает от себя вымученное писателем «творение» — плод бедней очередной «поэтической» штудии. Антиномия перевода? Тот непреодолимый внутренний конфликт, над разрешением которого бьется переводчик, даже не догадывающийся об обреченности своих усилий? Не правда ли, какая незавидная роль предуготовлена переводчику и, в первую очередь, переводчику-поэту, который что ни говори, а всегда имеет пред собой наглядно строго очерченное единство формы и содержания?!

Впрочем, в судьбе бедяги-переводчика все же проглядывают кое-какие просветы. Он не одинок в своей титанической борьбе с жестокой неизбежностью — ему на помощь спешат теоретики, предлагающие не унывать, не падать духом, подсказывающие возможность компромисса, той золотой середины, которая-де и творческую честь позволит соблюсти, и переводческий капиталец приобрести. Тут, главное, предупреждают со всех сторон, оптимистично не впадать в панику, а спокойно оглядеться, прикинуть, чем можно у автора и поступиться, выяснить, чем он особенно дорожить не станет, ну, а затем бережно собрать оставшиеся драгоценные крохи и отчеканить их вдохновенно в совершенную поэтическую форму.

Конечно, в серьезных теоретических трудах сам путь компромисса выглядит не так блаженно и простодушно. Во-первых, там написано и несравнимо больше, и несравненно деликатней. А в обилии деликатных подробностей и сам рецепт лечения становится как-то внушительно-благообразней, и сама болезнь словно отодвигается куда-то в сторону — будто дело и не в ней и не в грозящей больному опасности, а лишь в способности всех столпившихся у печального одра найти ту необходимую дозу лекарственной смеси, которая только и способна облегчить страдания недужного или, вернее, которая только и способна что облегчить его страдания...

А во-вторых, в серьезных трудах звучит бодрая, почти восторженная вера в само различие точек приложения усилий поэта-творца и поэта, так сказать, переводчика. У них, дескать, и объект разный, и задачи различные. Творцу — художественная форма, поэтика, переводчику — часть сюжетно-содержательная, стилистика. Как говорится, кесарю — кесарево... А компромисс — почти фикция и не компромисс вовсе, а лишь другое наименование того процесса, который предуказан самой природой перевода и поэта-переводчика. Речь быстро перескакивает на дискуссию о вольности и буквализме, и вот — противник повержен, теория торжествует над практикой. Чувство над мыслью... Волна торжества подкатывает к сердцу, да только неясно, как удалось, «избавившись», наконец, от части стихотворения, все же сохранить его целостность?! Или тут действует принцип взаимозаменяемости деталей: кое-что убрав из оригинала, кое-что добавляем в переводе? В серьезных трудах не проходят и мимо такой возможности — во всяком случае, ее полностью не исключают. Правда, нам так и не объясняют, чем, собственно, руководствовался переводчик, когда где-то отсекал, а что-то добавлял, но тут уж ничего не поделаешь: на непонятливого слов не наберешься, а сметливый давно уразумел, что компромисс как исход душевных мук переводчика просто неизбежен и определен самой парадоксальностью, самим двойственным отношением переводчика к созданию иноязычного поэта.

Утрирую? В какой-то мере, конечно. Но вообще «переводческая схема» во многих, даже лучших из имеющихся книг и статей по теории перевода подчиняется именно этим основополагающим принципам. Даже тех книг, весь основной пафос которых нацелен на борьбу со всевозможными переводческими поделками, ремесленными муляжами, поэтической бутафорией. Да, и в этих кни-



гах, пронизанных живым поэтическим чувством, богатых множеством ярких примеров как переводческих удач, так и жестоких переводческих поражений, анализ, теоретический анализ не преодолевает слишком часто инерции традиционных установлений, разговоров о неизбежности переводческих потерь и «возмещений», а неприятие буквализма неожиданно оборачивается всего лишь продолжением все той же линии — методологической линии — неизбежности потерь и, стало быть, выбора меньшего зла.

## КОМПРОМИСС В БУКВАЛИЗМЕ

Но прежде чем говорить о «следствиях» компромисса между переводами лингвистическими и художественными, есть, видимо, смысл вспомнить и о возможности компромисса «внутри» самого буквализма — между буквалистским и буквальным переводом произведений художественной литературы.

Тяготение к такому компромиссу при переводе — явление и очень частое, и очень распространенное.

К какой аморфной безликости приводит эта «лингвистическая золотая середина», эта широта «инвариантов смысла» и «инвариантность формы», можно увидеть в любом переводном «среднем» поэтическом сборнике. Именно в стихах (язык поэзии всегда далек от терминологической однозначности) особенно легко «добиться» инвариантности смысла и формы при удручающей бедности, серости поэтического языка и стиля.

Примеры тут, к сожалению, можно черпать пригоршнями буквализма — сколько угодно и пруд пруди образцов компромисса внутри буквализма — между буквалистским и буквальным переводом, и живут себе подобные переводы, поживаяют, обретая не только место в многочисленных сборниках, но и находя оправдание как в «общелингвистической» теории, так и в концепции «основ общего и машинного перевода».

А против «теории» не поспоришь. Ну как, скажите, доказать, что талантливый, яркий перевод какой-нибудь строфы вовсе не инвариантен «переводу» гладко-убогому?! Ведь разговоры о поэзии отвергаются с порога, ведь толки о соотношении содержания и формы сняты еще до всяких дискуссий — они и к делу не относятся, уверяют нас, и малозначительны и малоперспективны.

Но «теория» теорией, а строфы спорят, отменяя и сам буквализм, и, естественно, возможность решения переводческой задачи путем компромисса между двумя ипостасями «лингвистической переводческой теории»...

**Цвет небесный, синий цвет  
Полюбил я с малых лет.  
В детстве мне он означал  
Синеву иных начал.**

**И теперь, когда достиг  
Я вершины дней своих,  
В жертву остальным цветам  
Голубого не отдам.**

Так конгениально перевел Борис Пастернак «Цвет небесный» Николоза Бараташвили.

А вот перевод, инвариантный по смыслу, выполненный по законам «лингвистического компромисса»:

**Цвет небесный голубой,  
Первозданный, неземной.  
Цвет лазурный, синий цвет  
Я лелею с юных лет.**

**И хотя остыла кровь,  
Все храню к нему любовь,  
Покоренный голубым,  
Неподвластен я другим.**

С точки зрения лингвистической теории они совершенно равнозначны, взаимозаменяемы: в обоих переводах говорится о синем цвете небес, который поэт полюбил в детстве... Но с точки зрения поэтической точности, пастернаковский перевод инвариантен Бараташвили, а второй перевод инвариантен бесчисленному, бесконечному ряду бездумно-бездуховных виршплетений и лишь «как будто», лишь в «параметрах буквализма» соответствует бараташвилевскому творению.



В последней книге Г. Гачечиладзе, опубликованной незадолго до смерти автора — одного из активно работавших наших теоретиков-переводчиков, — дается следующее пояснение: «Наше принципиальное разногласие с А. Федоровым вызвано тем, что он оставляет без должного внимания эстетическую сторону процесса художественного перевода. Художественный перевод А. Федоров считает одним из частных, жанровых проявлений перевода как лингвистического явления, и поэтому даже специфические литературные аспекты принимают у него лингвистический уклон». А дальше еще резче: «Однако провозглашение лингвистического подхода к художественному переводу единственной основой содержания явную опасность: оно в конечном счете может привести к дословному, в языковом отношении точному, но в художественном отношении слабому переводу, так как, согласно лингвистическому подходу, принципиально определяющим моментом является не творческое отношение переводчика к подлиннику, а принцип языкового соответствия: переводчик переводит слова, фразы, предусматривает их соответствие — как частей — с целым произведением и т. д. Следовательно, происходит некий технический процесс, но не творчество...» И наконец, окончательный вывод: «Возможно, возникнет вопрос: где кончается языковое соответствие и где начинается художественное соответствие и можно ли провести между ними точную грань? Я бы ответил следующим образом: различие в языковых и художественных соответствиях — это прежде всего различие точек зрения, все зависит от того, ищет ли переводчик в процессе перевода соответствие слову подлинника или же пытается найти художественное соответствие (то есть передать эстетическую ценность подлинника посредством создания равной эстетической ценности), пытается передать содержание подлинника при такой же силе воздействия художественной формы. В художественном переводе следует искать эстетическую ценность подлинника. С этой точки зрения критерием является соответствие художественности перевода художественности подлинника, а языковое соответствие служит лишь художественному соответствию. Поэтому для определения качества художественного перевода один только критерий языкового соответствия неприменим». Последнее предложение включено в общее определение, конечно же, из чистой «щепетильности». Суть же в том, что для Гачечиладзе «языковое соответствие служит лишь художественному соответствию». Оно, «художественное соответствие», и только оно решает успех или неудачу перевода. Но тогда и «дозволение» нарушать «художественность» ради «дословной точности» выглядит простой «щепетильностью»?! Безусловно, вся логика концепции Гачечиладзе, и в этом как раз и заключается ее принципиальное отличие от лингвистической теории Федорова, ведет к поискам закономерности «нарушения дословной точности во имя художественности», во имя точности истинной, а не мнимой, во имя единства содержания и формы, и никак не иначе. Все остальное — оговорки, противоречивые отставиваемым принципам и только затемняющие существо проблемы.

Поэтому есть смысл пойти по предложенной нам, на самом деле, дороге. Вглядимся в приметы «художественности», во имя которой мы ищем «закономерности нарушения дословной точности».

*Продолжение следует*





**БАТУМ** 1921 года представлял собою самый необыкновенный город, который я видел за свою жизнь, хоть повидал я полтысячи городов.

Это был год ужасающего голода в Поволжье, откуда шатающиеся от истощения дети уезжали на буферах товарных вагонов. А по батумским улицам двигалась разноязычная толпа, в которой многие были не только сыты, но и нарядны...

В Грузии уже существовала Советская власть. Тифлис, в котором я был непосредственно перед приездом в Батум, не отличался по образу своей жизни от других советских городов.

Я до сих пор помню свою радость, когда Тифлисский Центральный Рабочий Клуб выдал мне за литературную лекцию к договоренным двадцати тысячам рублей, на которые можно было купить одну буханку кукурузного хлеба, еще и полторы селедки.

Таков был уровень жизни и в Москве, где я был перед поездкой в Грузию. Поэтому так поражал Батум. Дело было в том, что Советское государство, еще не наладив больших международных торговых связей, поставило Батум в положение какого-то своеобразного временного клапана в зарубежный мир. Одесский, ленинградский, бакинский порты еще спали, а батумский бурлил. В Батуме существовали представительства многих торговых фирм. Конечно, для грандиозных потребностей советского колосса это был совсем крохотный клапан, но в своем непосредственном образе Батум представлялся каким-то северянским громокипящим кубком.

Работали ночные рестораны, и поскольку хождение по улицам после двенадцати было запрещено, посетители оставались кутить до утра. Происходили благотворительные лотереи в пользу голодающих, причем какой-нибудь итальянский или турецкий негодник снисходительно уплачивал за ненужную ему корзину цветов сумму, равную годовому заработку местного рабочего...

Я не мог понять, куда попал. Почему, когда проходишь по Кутаисской улице,

вдруг ударяет в нос запах кокаина и откуда взялись все эти женщины в шелках и бриллиантах? То есть мне-то до всего этого дела не было, но созерцание такого праздника озадачивало.

Я же лично был в то время молодым человеком в шинели военного покроя, но в сугубо гражданской соломенной шляпе с большою дырою, несколько досаждавшей мне даже и в субтропическую зиму.

В день, когда мне исполнилось двадцать два года, я не без юмора вспомнил о том, что ребенком заключил с сестрою пари на пуд шоколада, что к двадцати двум годам стану великаном. Великаном я не стал.

Конечно, став взрослым, человек не отвечает за пари, которые он заключил по ребяческой наивности. Но о какой уплате хоть одною плиткою шоколада можно было

думать теперь, когда обед, да и то не ежедневный, состоял из тарелки бобов!

Но, несмотря на полуголодную жизнь, мы, литераторы, музыканты, лекторы, художники, писали, играли, выступали, рисовали. Я даже вздумал издать книжечку своих критических очерков. Это были портреты-характеристики нравившихся мне писателей. Еще был жив Дорошевич, и я написал о нем очерк<sup>1</sup>. В Москве годом ранее судьба свела меня с Брюсовым; и другой очерк под названием «Великолепный Валерий» я посвятил ему. Прочие маленькие статьи-фельетоны были об Александре Измайлове, теперь забытом, об Аверченко, о Куприне... Назвал я свою книжечку «Мои полубоги». Но как ее выпустить?

Издательства нет, денег нет, даже разрешения нет. С разрешением дело я позднее урегулировал. Жил в Батуме

<sup>1</sup> Батумская публикация была первой из моих многих публикаций о В. М. Дорошевиче, архив которого мне ныне принадлежит. Мой большой монографический очерк об этом короле фельетона появился через тридцать четыре года после батумского, в декабрьской 1965 года книжке журнала «Москва». — В. П.



некий интеллигентный человек по фамилии Бодянский. Говорить с ним о поэзии было интересно; но как не мог я разобраться в образе жизни города Батума, не понимал я и образа жизни Бодянского. Днем его ежедневно можно было видеть на уличной черной бирже открыто перепродающим турецкие и итальянские лиры. А на вопрос о своем общественном положении Бодянский уверенно отвечал, что он военный цензор. На моей рукописи он так и написал: «Разрешено военной цензурой». С этим грифом книжечка, теперь ставшая библиографической редкостью, и вышла. А я до сих пор, успев состариться, так и не знаю, был ли действительно Бодянский цензором и почему, даже если он им был, гражданской типографии достаточно было военного разрешения без печати!

Так или иначе я храбро внес в типографию аванс в размере каких-то сотен тысяч не то «советскими», не то «грузинскими», тоже советскими (тогда ходило в обращении три советских валюты), и брошюра была набрана. Но отпечатать ее и выкупить денег не хватало. На обороте обложки и на последней странице, перед которой кончался литературный текст, оставалось свободное место. И кто-то из находившихся здесь в ту пору русских поэтов (в Батум приезжал Анатолий Мариенгоф и жил Осип Мандельштам) посоветовал использовать его под объявления фирм.

Действительно, те, у кого сохранилась эта книжечка, и сегодня могут удив-

ляться, видя издание, цена которого обозначена в нескольких валютах — московской, тифлисской, итальянской и турецкой. А до и после текста объявления фирм, в том числе знаменитой швейцарской фирмы шоколада.

Когда я договорившись об этом объявлении, пришел за уплатою по нему, представитель фирмы показался мне смущенным.

— Видите ли, отделение временно испытывает затруднение в наличных деньгах. Если бы вы были так любезны и согласились взять причитающуюся вам сумму товаром?..

— Каким товаром?—задал я, не испуганный в коммерции, вопрос.

— Конечно, нашим. Наш шоколад очень хорош. Разумеется, мы будем считать его вам не по розничной цене, а со скидкой, по оптовой. Мы с вами договорились об уплате за наше объявление в... (он назвал что-то около четверти миллиона рублей советскими грузинскими). По сегодняшнему курсу вам будет следовать с учетом скидки...

Представитель шоколадной фирмы считал, считал и наконец уверенно сказал:

— Вам следует тридцать девять фунтов. Ну, будем считать пуд шоколада. Угодно?

— Угодно,—сказал я.

Так вдруг смог я заплатить сестре по проигранному пари, заключенному в возрасте, в котором дети еще не отвечают за свои поступки!







## СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ГОРАЦИИ...

Из греко-римской литературы известно, что Восточная Грузия называлась Иверией, а Западная Грузия — Колхидой (или Лазикой). Поэтому, говоря «иверы», подразумевают жителей Восточной Грузии, в то время как грузин из Западной Грузии именуют колхами или с I века — лазами.

Грузинскую науку всегда смущало это обстоятельство. Ведь Грузия — сравнительно небольшая страна, и трудно представить себе, что у наших соседей, с которыми грузины веками находились в близких отношениях, не было единого наименования для всех грузин, что они, наши соседи, так разноречиво называли их: восточных грузин по-одному и западных — по-другому.

Детальное изучение письменных памятников дает возможность убедиться, что греки и римляне не именовали грузин отдельно. И восточных, и западных грузин народы античного мира называли и иверами, и колхами. В доказательство этого положения я хочу привести некоторые места из произведений римского поэта I века Квинта Горация Флакка.

Как видно, Гораций знал, что в Западной Грузии был край по имени Иберия. В пятой эподе Гораций очень резко выражается о колдунье Канидии, которая готовит ядовитые любовные зелья. Он говорит: «Канидия велит и травы, ядом на лугах набухшие в Иолке и в Иберии, сжигать в колхидском пламени» (Эпод 5, 21).

Тут Гораций говорит о тех травах, из которых Медея готовила ядовитые зелья. В связи с этими травами поэт называет Иолкос и Иберию. Иолкос упоминается ввиду того, что Язон был родом из Иолкоса, и сюда же, в Иолкос, вернулся Язон со своей женой Медеей, которая продолжает свою чародейственную деятельность.

Наряду с Иолкосом, в связи со сказочными травами, Гораций упоминает Иберию, как родину изготовления ядовитых трав. Мы ожидали, что родиной чародействующих трав поэт назовет Колхиду, откуда была родом Медея и где произрастали те сказочные травы.

Издатели сочинений Горация немецкие ученые Кисслинг и Гайнце в своих примечаниях указывают: эти травы «происходят из разных стран всякого чуда, Иолкоса в Фессалии и из Иберии (т. е. Грузии), указанной Горацием вместо соседней Колхиды». Немецкие ученые хотят сказать: «Гораций должен был сказать «Колхиду», а назвал соседнюю «Иберию».

Но немецкие комментаторы ошибаются: если бы Гораций намеревался сказать «Колхиду», нечего было вместо него называть «Иберию». Как видно, Гораций достаточно был эрудирован в том, что одна часть Западной Грузии называлась Иберия.



Существуют и другие источники, в которых племя иберов упоминается как бытующее и в Западной Грузии. См. об этом исследование С. Г. Каухчишвили «К вопросу о наличии племени иберов в Западной Грузии» (напечатано во II томе «Георгики», стр. 25—26, в виде развернутых тезисов).



Публикуемая ниже статья о новой книге выдающегося литературоведа и литературного критика, видного общественного деятеля, члена Союза писателей СССР, доктора филологических наук, профессора А. Л. Дымшица была уже сверстана, когда пришла весть о его безвременной кончине. Этой статьей журнал «Литературная Грузия» отдает дань памяти Александру Львовичу Дымшицу.

## ВКЛАД В МАРКСИСТСКОЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Исследование отношений К. Маркса и Ф. Энгельса к вопросам литературы началось в Советском Союзе еще в 30-е годы; именно у нас были написаны первые статьи и монографии по этой проблеме. После второй мировой войны научный поиск в этом направлении постепенно развертывается в странах демократического лагеря и, наконец, в капиталистических государствах.

Это и понятно. Уже давно ушло в прошлое время, когда буржуазные идеологи открепивались от ненавистного им учения Маркса и Энгельса. Сегодня они выдвинули совершенно новый лозунг: «назад к Марксу». Отстаивая интересы буржуазии, фальсификаторы истории, оппортунисты и ревизионисты пытаются подменить суждения основоположников марксизма прочтениями, извращающими и выхолащивающими марксизм, его истинно революционный дух.

В такой обстановке, безусловно, следует приветствовать выход в свет каждой новой книги, рассматривающей проблемы марксистской эстетики и литературоведения.

В этом свете новаторской представляется книга А. Л. Дымшица «К. Маркс и Ф. Энгельс и немецкая литература» (изд-во «Художественная литература», 1973). В ней подытожена большая и многолетняя исследовательская работа, проведенная автором. Главы ее в виде отдельных исследований и ранее печатались на русском и немецком языках в солидных научных органах.

Как видно уже из названия книги, в ней в основном исследован один аспект марксистского литературоведения: тщательно изучены суждения К. Маркса и Ф. Энгельса о немецкой литературе и немецких писателей, взаимоотношения авторов «Манифеста» с некоторыми писателями, их современниками.

Над этими проблемами и темами ранее работали и другие исследователи, не сумевшие, однако, исчерпать материал во всем его объеме. А. Дымшиц попытался рассмотреть ряд проблем под но-

вым углом зрения. Он подвел итог большой работы, проделанной у нас и в странах демократического лагеря, учел положительный и отрицательный опыт своих предшественников, многие из проблем, поставленных другими, из ряда гипотез ввел в права научной теории, дополнил существенными доводами суждения ряда авторов по многим вопросам.

Книга носит характер историко-литературного труда. Но поскольку в ней речь идет об отношении основоположников марксизма к вопросам развития литературы и к ряду писателей, исследование затрагивает также некоторые теоретико-литературные проблемы. Кроме того, неотступными спутниками данной работы являются научная полемика и идеологическая борьба с теми, кто пытается пересматривать марксизм. Исследование зиждется на четырех основных источниках: отдельных биографических фактах из жизни Карла Маркса и Фридриха Энгельса, их научных трудах, их эпистолярном наследии и, наконец, воспоминаниях третьих лиц о классиках марксизма.

Главная цель труда — изучение отношения Маркса и Энгельса к теории искусства и к литературоведению, а также к отдельным представителям немецкой литературы. За последние годы открыто и опубликовано много новых материалов (можно назвать, например, публикации Бруно Кайзера), и это требует возвращения к животрепещущей теме. Необходимость эту усугубляет то обстоятельство, что, к сожалению, в последнее время иные литературоведы пытаются «вычитать» из текстов Маркса и Энгельса нечто такое, что в большей мере отвечает их собственным представлениям, чем тому, что реально в этих текстах содержится. А. Дымшиц же бережно обращается с этими классическими текстами, никогда не подменяя суждения основоположников марксизма подобными легкомысленными прочтениями. Взгляды отцов научного коммунизма он не



рассматривает изолированно от всего их учения, от их революционной теории и практики. А. Дымшиц исследует их как явления, неразрывно связанные друг с другом.

В отдельных главах предметом суждений автора стали воззрения классиков марксизма по национальному литературному наследству, народному поэтическому творчеству; прослежена их борьба за создание новой литературы и мнение относительно неизбежной тенденциозности литературы, по литературным вопросам, получившим освещение на страницах «Новой Рейнской газеты». Ряд глав посвящен Генриху Гейне, Фердинанду Фрейлиграту, Георгу Гервегу и Георгу Веерту. В приложениях подвергнуты критике и разоблачены попытки пересмотра и фальсификации литературных взглядов К. Маркса и Ф. Энгельса, предпринятые Петером Деметцом и Гансом Майером.

Анализ взаимоотношений К. Маркса и Ф. Энгельса с передовыми писателями того времени, как подчеркивается в книге, свидетельствует о неизменно проводимой ими борьбе за развитие идеологии пролетариата как идеологии партийной, применительно ко всем вопросам, в том числе и литературным. В этом плане они являются предшественниками В. И. Ленина, окончательно сформулировавшего развернутую концепцию партийности литературы и искусства. В отношениях с отдельными писателями классики марксизма стремились воспитать их в духе осознания партийности, составляющей основу социалистического творчества. Их суждения всегда были проникнуты боевым духом; отдельные литературные явления брались ими «под обстрел» в интересах целостного идейно-художественного анализа, в единстве мировоззренческих и творческих тенденций (стр. 8).

Глубокое знание путей исторического развития общества и литературного процесса помогло К. Марксу и Ф. Энгельсу предначертать тенденции дальнейшего развития искусства и литературы.

Достоинство книги в последовательной проводимой в ней полемике с фальсификаторами марксизма, с разного рода оппортунистами и ревизионистами. Это исследование лишено досадной односторонности некоторых ранее вышедших трудов на аналогичную тему. Оно характеризуется не только обилием материала, глубиной анализа, но и единством анализа суждений К. Маркса и Ф. Энгельса о немецкой литературе и критики всех тех теорий, которые сегодня выдаются некоторыми за творческий марксизм в области эстетики.

Научный анализ взглядов классиков марксизма в области искусства в этом исследовании почти всегда перекликается с вопросами современной эстетики и литературоведения. Автор поставил перед собой ответственную задачу — разоблачить теоретические положения ревизионистов от эстетики. Именно это является одной из главных задач рецензируемого труда; в отсутствии такой постановки вопроса и «замкнутости в себе» газета «Правда» справедливо упрекала авторов некоторых научных трудов еще в 1966 году (№ 119).

Фальсификаторы марксизма, разного рода оппортунисты и ревизионисты, как известно, тщатся пересматривать якобы «устаревшие» положения марксизма-ленинизма, ревизовать марксистскую эстетику и научное литературоведение. А. Дымшиц показал, сколь тщетны все попытки доказать, что в марксистско-ленинской эстетике якобы нет ничего оригинального, отличного от всего, ранее созданного немецкими мыслителями разных столетий, что марксистская эстетика — это будто бы всего лишь обветшалое оружие, извлеченное из идеологического арсенала буржуазии, что марксистская эстетика и, в частности, взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса по вопросам немецкой литературы якобы не составляют единой и стройной системы.

В рассматриваемой работе проливается свет на суждения Петера Деметца, книга которого «Маркс, Энгельс и писатели» (Штутгарт, 1959) в буржуазном мире Запаदा объявлена крупнейшим явлением. А. Дымшиц разбивает попытку П. Деметца объявлять Фридриха Энгельса позднего периода ревизионистом марксистских идей и вообще противопоставить «эстетику Энгельса» «эстетике Маркса» (стр. 13) и отвергает суждение о том, якобы по ряду вопросов эстетики, а также в отношении к отдельным писателям (например к Г. Гейне) авторы «Манифеста» расходились в мнениях и противостояли друг другу.

В труде разоблачаются также суждения Фрица Раддэца и Ганса Майера. Первый из этих фальсификаторов пытается создать у своих читателей впечатление, будто Марксу был свойствен лишь потребительский, как он выражается, «кулинарный подход» к литературе, тогда как Энгельс углублялся в проблемы теории литературы и своим определением реализма открыл путь к «будущим недоразумениям с социалистическим реализмом» (стр. 13). Ганс Майер в своей статье «Карл Маркс и литература» отнюдь не является автором нового слова в научной литературе, созданной о Марксе и в связи с ним. А. Дымшиц наглядно выявил, что в действительности Ганс Майер



выступает в качестве одного из тех «радетелей» марксизма, которые практически ревизуют наследие его основоположников (стр. 333).

Однако наиболее резкой критике подвергнуты в книге взгляды Георга Лукача, и это вполне естественно. Несмотря на определенные заслуги перед германистикой, выдвинутые им догмы в связи с эстетикой К. Маркса и Ф. Энгельса, естественно, вызывают у многих современных ученых существенные возражения. Не разделяет этих догм и автор рецензируемого труда, но при этом он считает нужным подчеркнуть, что полемика с Г. Лукачем является для него выражением научного разномыслия (стр. 12). По поводу Г. Лукача в книге обоснованно указывается на предвидение В. И. Ленина, считавшего, что этот человек лишен способности «конкретного анализа точно определенных исторических ситуаций», что ему и его единомышленникам свойственна склонность к абстрактному теоретизированию (стр. 307). Дымшицем дана критика ошибочных идей Г. Лукача относительно романтизма как единого реакционного течения: его попытки противопоставить друг другу тенденциозность и партийность литературы (стр. 297), создать беспочвенную теорию «большого реализма», приносящую в жертву социалистический реализм и его составную часть — революционную романтику, нападок на ленинскую теорию партийности литературы.

В книге проводится мысль, что в борьбе за внедрение реализма как твор-

ческого метода Маркс и Энгельс не отвергали другие прогрессивные художественные явления, к примеру революционный романтизм; что классики марксизма не только не противопоставляли друг другу реализм и революционный романтизм, но и высказывались за органическое сочетание и синтез их тенденций, проявляя и в этом способность угадывать перспективы развития искусства (стр. 9).

Исследование А. Дымшица положило начало новому этапу в последующем изучении эстетического наследия классиков марксизма. Очевидно, и в дальнейшем следует разрабатывать аналогичные темы, глубже изучать отношение К. Маркса и Ф. Энгельса к французской и русской литературе; тем более что, по заявлению самого же автора книги, многие вопросы в его работе «лишь затронуты, а не исследованы» (стр. 5). Он приходит к выводу, что суждения К. Маркса и Ф. Энгельса о немецкой литературе всегда основаны на применении классового, конкретного исторического подхода к изучаемым явлениям, все и всегда предстают как выражение духовных и политических интересов борющегося рабочего класса (стр. 306); что классики марксизма всегда давали диалектический анализ художественного феномена.

Книга А. Л. Дымшица «К. Маркс и Ф. Энгельс и немецкая литература» — значительный вклад не только в германистику, но и вообще в марксистскую теорию и историю искусства.

**Шота РЕВИШВИЛИ,**  
профессор

## ГРУЗИНСКИЕ ПРЕДАНИЯ И ЛЕГЕНДЫ — НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В серии «Сказки и мифы народов Востока» на русском языке вышел сборник «Грузинские народные предания и легенды» (издательство «Наука», Москва). Его составитель, переводчик, автор предисловия и примечаний — профессор Елена Вирсаладзе.

Нельзя не согласиться с утверждением автора предисловия о том, что перевод на другой язык народных устных творений многовековой давности — задача исключительно сложная и серьезная. «Перевести и прокомментировать предания и легенды какого-либо народа, — пишет Е. Вирсаладзе, — это значит не только заставить звучать на чужом языке образы, выношенные и бережно хранимые народом в тече-

ние столетий; это значит прокомментировать все основные моменты истории, весь мир основных понятий, воззрений народа, определяющих историческое своеобразие его отношений к прошлому и основным морально-этическим категориям».

В предисловии четко и убедительно охарактеризованы имманентная природа и колоритные признаки анализируемых жанров народной прозы, исторический генезис или реальные истоки некоторых подобных текстов и вообще вся сложность и особенности фиксации фольклорных произведений такого типа.

Составителем и переводчиком сборника коротко, но со знанием вопроса сделан обзор первых публикаций национальных на-



родных преданий и легенд на страницах грузинских журналов и газет или отдельных печатных изданий. Упомянуты, например, сванские легенды, опубликованные Б. Нижарадзе (Свободным сваном) в 1889 году в газете «Иверия», исторические предания, помещенные в «Сборнике Акакия», 1 и 2 тома собранных Тедо Разикашвили в 1909 году в Карталини и Кахетии сказок с включенными в них легендами и т. д.

Как отмечает Вирсаладзе, в сборе и публикации грузинских народных преданий и легенд не меньшая заслуга принадлежит русской прессе на Кавказе и особенно «Сборнику материалов для описания местностей и племен Кавказа» (1881—1929). В сорок пять томов этого издания вошло множество народных прозаических памятников указанной категории, записанных учителями и учащимися разных школ.

Публикации текстов этого же типа на русском языке способствовала также газета «Кавказ». Наряду с грузинскими собирателями Р. Эривасты, Т. Разикашвили, Н. Цискаришвили, Н. Бердзенишвили, Б. Нижарадзе и другими значительная часть грузинских народных произведений найдена и зафиксирована жившей в Грузии русской интеллигенцией. И тут в первую очередь следует назвать И. Тепцова, И. Степанова, М. Машурко, И. Сливицкого и других.

Первый переведенный на русский язык сборник грузинских преданий и легенд, составленный О. Грузинской, был издан в Москве в 1899 году. Больше подобных сборников до революции не выходило. И лишь в 1963 году под редакцией профессора Михаила Чиковани, с его предисловием и примечаниями в Тбилиси были изданы грузинские народные сказания и легенды. Из вышеуказанных изданий в рецензируемый сборник вошла лишь часть текстов. В сборник включены также предания и легенды, опубликованные в свое время А. Шанидзе, В. Котетишвили, А. Глonti, К. Сихарулидзе и Е. Вирсаладзе. Вместе с тем здесь использованы материалы из различных архивов и записи, выполненные ею лично. Хотя анализируемый сборник не исчерпывает всего фонда грузинского прозаического фольклора соответствующего типа, сегодня он представляет собой наиболее полное собрание грузинских народных преданий и легенд.

Памятники народной прозы соответствующей категории разделены в нем на две основные части. В первой — сосредоточены произведения жанра преданий, во второй — легенд. Тексты обоих жанров классифицированы по их содержанию и функции. В частности, в ареал преданий включены произведения космогонического, этиологического, морально-дидактического, философского, апокрифического содержания, а также посвященные выдающимся историческим деятелям, народным героям и так далее. В разделе преданий космогонического цикла помещены древнейшие

анимистические представления нашего народа об астральных телах — Солнце, Луне, звездах, стихийных явлениях природы.

В сборнике под одной общей рубрикой по хронологическому принципу расположены предания о выдающихся исторических деятелях — царе Парнаозе, Вахтанге Горгасали, царе Гургене, Давиде Строителе, царице Тамар, Шота Руставели. В отдельном разделе объединены предания о бесстрашных защитниках родины, о борцах против крепостничества (Зезва Гаприндаули, царь Ираклий, Майя Цхнетили, Капсул Гоштелиани, Мамука Галундаури...). В других разделах этой же орбиты представлены предания о духах-покровителях, Амيرانе, животных, птицах и растениях, о строительстве крепостей и башен, о проблемах жизни и смерти...

По сравнению с преданиями легенды занимают в сборнике меньше места. Здесь собраны легенды о сотворении мира, о Христе, святом Георгии и другие.

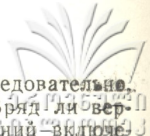
Книга завершается примечанием, где с соответствующими комментариями дан краткий паспорт каждого текста. Сюда же включены и необходимые для русского читателя интерпретации (объяснения специальных национальных лингвистических терминов, местных географических названий, ритуалов локального значения). Найдет здесь читатель и параллельный материал в грузинском фольклоре, а также международные параллели.

Содержание и форма грузинских народных преданий и легенд адекватно перенесены в русский текст, и в этом несомненное достоинство перевода. Глубокое знание обоих языков позволило переводчику, не следуя скрупулезной дословной передаче текста оригинала, в то же время не отдаляться от него, по мере возможности сохраняя фабулу, мотивы, словесный инвентарь, художественные и эмоциональные аксессуары подлинника. Грузинский народный говор удачно воспроизведен средствами русского языка. Перевод читается свободно, звучит естественно, непринужденно. Так же умело используются синтаксические конструкции русского языка, русские народные идиоматические выражения или фразеологические обороты.

Успешно реализованы и многие элементы русского народного разговорного языка. С этой точки зрения примечательно использование глагола в начале фразы, что придает живой речи активный характер и подчеркнуто-пластическую интонацию. Прием этот часто применяется как в грузинских, так и в русских сказках. Вот как использован он в одном из переводов, включенных в рассматриваемый сборник: «Натянул он лук и пустил стрелу. Попала она огузу в бедро. Укусом пчелы то ему показалось. Достал он ту стрелу, разглядел и подивился:

— Боже, что я вижу, что это за диво такое? Откуда эта стрела, кто в меня стрелял? («Огузы, люди и карлики»).





Так же интересно переложены на русский язык отдельные диалоги, те или иные пейзажные зарисовки, которые здесь нет возможности привести.

Но хочется сделать и некоторые замечания.

Поскольку в сборник включены тексты двух популярных жанров грузинской народной прозы — преданий и легенд, хорошо было бы дать в предисловии хотя бы вкратце, в теоретическом аспекте формулировку специфических признаков каждого из них. Это тем более необходимо, что предание, легенда и сказание по своей внутренней структуре похожи друг на друга и порою трудно провести четкую разделительную линию между ними. Как принято считать в специальной литературе, от преданий легенда отличается тем, что построена на духовно-религиозном сюжете. Если это так, то непонятно, как попали в предания некоторые подобные тексты космогонического типа, которые имеют яв-

но религиозный характер и, следовательно, наделены функцией легенды. Вряд ли верно также, что в раздел преданий включена грузинская народная сказка «Земля своего требует». До сих пор она печаталась в сборниках грузинских народных сказок...

Несмотря на эти незначительные замечания, издание на русском языке сборника грузинских народных преданий и легенд — явление, бесспорно, примечательное. Оно еще раз подтверждает ту общеизвестную истину, что перевод — искусство, творческий процесс, а подлинно художественный перевод как явление эстетического порядка играет на другом языке роль эквивалентного художественного произведения. В данном же случае высокое качество перевода способствует еще более широкой популяризации образов грузинского народного творчества.

Георгий ШЕТЕКАУРИ

## ИССЛЕДОВАНИЕ СТИЛЯ ПИСАТЕЛЕЙ

Объективная оценка любого научно-труда или учебного пособия складывается на основе сопоставления замысла автора, задач, которые он перед собой ставил (степень актуальности проблемы, отбор материала, характер исследования), и их реализации, нашедшей свое воплощение в самом произведении. С этим критерием мы и подойдем к рассмотрению книги Т. Н. Мревлишвили «О языке русских писателей» (издательство Тбилисского университета).

В аннотации к ней читаем: «Предлагаемое учебное пособие посвящено разбору фонетических, морфологических, синтаксических и лексико-фразеологических особенностей художественной речи отдельных произведений русских писателей». Опираясь на высказывание В. В. Виноградова: «Путь конкретно-исторического изучения языка отдельных произведений может вернее всего довести до решения больших проблем стиля писателя и языка художественной литературы», — Т. Н. Мревлишвили считает, что при изучении языка писателей следует «определить степень приближения или отдаления языка данного писателя от общепотребительных норм, вскрыть то новое, что вносит писатель в сокровищницу общенационального литературного языка» (стр. 3).

Перед нами не курс истории русского литературного языка в систематическом изложении, а ряд статей, объеди-

ненных общим замыслом — осветить те стороны литературного мастерства отдельных писателей, которые, по мнению автора, ярче всего характеризуют данного художника слова, но в силу разных причин в меньшей степени привлекали внимание исследователей. Отсюда — разнообразие тематики и аспектов исследования (фонетические и морфологические особенности того или иного произведения, наблюдения над синтаксисом простого предложения и над структурой сложного синтаксического целого, речевая характеристика персонажей и языковые средства создания колорита исторической эпохи), отсюда же — широкий хронологический охват объектов изучения от К. Рылеева до К. Паустовского. В одних случаях это тщательно выполненные этюды, в которых выпукло показываются преобладающие черты языка и стиля отдельных произведений, в других — обобщенная характеристика особенностей художественной прозы или поэтической речи в определенной эпоху развития русского литературного языка.

Такой подход к раскрытию темы вполне закономерен: наряду с монографическим описанием индивидуального стиля писателя в целом, представляет интерес выявление какой-либо специфической черты этого стиля, показ одной из граней — многогранного таланта художника слова.



В качестве методологической основы Т. Н. Мревлишвили взяла понимание языка художественной литературы как функционального стиля, входящего в общую систему стилей литературного языка, хотя и обладающего настолько значительной спецификой, что понятие стиля в этом случае имеет несколько иное содержание, чем в применении к остальным функциональным стилям (стр. 4—7). Именно функционирование и е художественно-беллетристического стиля интересует автора, справедливо полагающего, что «для полного и точного выявления специфики художественной речи необходимо детальное изучение речевой организации языковых средств у отдельных писателей и даже отдельных произведений того или иного писателя, так как одни и те же языковые факты в разных произведениях могут быть использованы с различными художественными целями» (стр. 7).

В художественном произведении выделяются не только содержание (идея, сюжет, фабула, система образов и т. д.) и языковая форма, но в последней, в свою очередь, имеется свое что (языковые средства) и как (способы их использования, что и составляет основу индивидуального стиля писателя): «Употребляя одни и те же элементы общепроизвольного языка, писатели отличаются друг от друга тем, что, привлекая различные синонимические ряды из области лексики и из области грамматических форм, придают этим языковым элементам и различные стилистические функции» (стр. 24).

В главе «О некоторых фонетических особенностях языка К. Ф. Рыльева» (стр. 8—22) достаточно подробно характеризуется именно эта сторона стихов поэта. Обилие древнерусских и старославянских элементов в поэзии Рыльева объясняется так: «Обращение к историческому прошлому русского народа было удобным поводом для проповедования декабристских идей, а средством создания исторического колорита был и древнерусский и старославянский языки» (стр. 9). Может быть, точнее было бы говорить не только о фонетических, но и о морфологических особенностях: употребление инфинитивов типа «цвеств» или усеченных прилагательных типа «унылуу жизнь» связано не с произношением, а с формообразованием, приспособленным к условиям ритма и рифмы. Точнее было бы также в рифмах типа «славы — кровавый» видеть не «отпадение конечного йота» (стр. 16), а использование так называемой неполной рифмы.

Небольшая глава «Морфологические особенности художественной речи первой половины XIX в.» (стр. 23—35) знакомит нас со стилистическими функ-

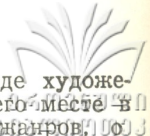
циями отдельных форм частей речи, которые (формы) представляют собой отклонения от принятых в тот период развития литературного языка форм. Привлечение этого материала мотивировано тем, что «своеобразие художественного стиля создается не только отбором определенных лексических групп, но и особой организацией всех языковых средств, в том числе и морфологических форм» (стр. 35). Следовало бы, однако, разграничить, с одной стороны, употребление особых форм (особых не только по сравнению с современными, но частично с аналогичными формами, более распространенными в соответствующую эпоху) и, с другой стороны, использование вполне нормативных форм в стилистических целях (например, на стр. 32—33 варьирование глагольных видо-временных форм как средство художественной выразительности или на стр. 29 наличие синекдохи — употребление единственного числа в функции множественного в обоих случаях речь идет не о «морфологических особенностях»).

В главах «Речевая характеристика персонажей повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка» (стр. 36—49) и «Речевая характеристика персонажей повести Н. В. Гоголя «Шинель» (стр. 62—76) и студент-филолог, и преподаватель-словесник найдут лингвистический анализ произведений, включенных в программу школьного чтения. Характеризуя речь персонажей, показывая ее народно-диалектную, просторечную, жаргонную или профессиональную основу, автор исследования подводит нас к истокам зарождения разговорной речи в составе литературного языка последующей эпохи. Читатель находит здесь также ранние проявления такого эффективного приема художественной выразительности, как несобственно-прямая речь.

Прозе Лермонтова, как известно, посвящено немало основательных исследований, и в наши дни историк языка и литературы, чтобы избежать опасности повторять сказанное до него, обращается к более углубленному рассмотрению какой-либо одной стороны творчества автора «Героя нашего времени». На этот путь стала и Т. Н. Мревлишвили: ее интересует эволюция творческой манеры Лермонтова, переход от романтизма «Вадима» к реализму зрелой поры деятельности писателя, нашедшему свое воплощение, в частности, в повести «Бэла» (стр. 50—61).

Глава «Синтаксис простого предложения у Н. В. Гоголя» (стр. 77—101) построена на ограниченном материале — повести «Невский проспект», но углубленный анализ фактов языка позволил автору сделать ряд наблюдений и выво-





дов, носящих общий характер (методически они удачно поданы в конце главы).

В главе «Язык писем В. Г. Белинского» (стр. 102—117) выясняются стилистические особенности эпистолярного наследия человека, который вошел в историю отечественной культуры как основатель литературной критики, страстный публицист, передовой мыслитель своей эпохи. Анализ языка и стиля писем Белинского поможет проникнуть в творческую лабораторию одного из основоположников национально-русского публицистического стиля.

Большее половины книги отведено лингвостилистическому анализу произведений новейшего времени. Открывается эта часть книги небольшой главой «Выразительные средства языка рассказа М. Горького «Старуха Изергиль»» (стр. 118—127), которую можно рассматривать как введение в изучение творческой манеры раннего Горького.

Интерес, который вызывает глава «Языковые средства создания колорита исторической эпохи в романе А. Чапыгина «Разин Степан»» (стр. 128—154), связан с рядом причин. Во-первых, язык исторических романов Чапыгина мало изучен, хотя стилистическое их своеобразие должно было бы привлечь более широкое внимание языковедов. Во-вторых, детальный анализ, проводимый в этой главе, лишней раз покажет студенту-филологу методику изучения фактов языка произведений литературно-художественного стиля. Наконец, здесь же ставится важная проблема принципов исторической стилизации в текстах данного жанра (степень допустимого использования устарелой лексики в авторском повествовании, введение архаизмов, историзмов, диалектизмов, устарелых грамматических форм в речь персонажей, способы создания исторического и местного колорита).

Наблюдениям над стилем романа Константина Федина «Первые радости» посвящена следующая глава (стр. 155—182). В ней выделены два раздела: «Некоторые художественные особенности языка романа» и «Речь персонажей романа». Оба они органически связаны друг с другом и в совокупности дают представление об индивидуальном стиле писателя, показывают стилистическое своеобразие произведения, являющегося одним из образцов социалистического реализма.

Хотя проблеме сложного синтаксического целого в теоретическом плане, как отмечает сама Т. Н. Мревлишвили, за последнее время было уделено немало внимания, все же вопрос о функционировании этого грамматико-смыс-

лового единства в общем ходе художественного повествования, о его месте в произведениях различных жанров, об его роли в формировании индивидуального стиля писателя продолжает интересовать исследователей. Поэтому включение в книгу главы «О структуре сложного синтаксического целого в современной художественной речи» (стр. 183—207) вполне уместно. На материале различных произведений («Кружилька» В. Пановой, «Открытая книга» В. Каверина, «Дни и ночи» К. Симонова) показано многообразие форм этой синтаксической единицы, ее широкие стилистические возможности в ткани художественного произведения.

Вопросам стилистического синтаксиса посвящена и глава «Некоторые синтаксические конструкции языка произведения Константина Паустовского «Золотая роза»» (стр. 208—217). Не претендуя на какое-либо обобщение (материалом для наблюдений послужила только первая часть книги «Золотая роза»), представляя собой скорее эскизные наброски, глава тем не менее вызывает интерес (Паустовский всегда интересен!).

Книга заканчивается большим разделом «К характеристике стиля современной поэтической речи» (стр. 218—288), в котором анализируются лексика и синтаксис (простого предложения) значительного количества произведений современных советских поэтов. Большой и разнообразный материал, привлеченный для анализа, отдельные тонкие наблюдения над своеобразием поэтической речи, осторожное обращение с таким «деликатным» предметом, как стихи, делают эту главу интересной и содержательной.

Книга Т. Н. Мревлишвили не только результат раздумий исследователя, не только плод кабинетного труда: это вместе с тем живое слово педагога-лектора, знающего и любящего свой предмет, заинтересованного в том, чтобы донести свои знания до любознательной аудитории — очной и заочной. Возможно, что в основу некоторых разделов книги были положены лекции, материалы спецкурсов, отсюда не всегда достаточно выдержанный академический тон изложения и стилистические шероховатости, встречающиеся в отдельных местах книги. В целом же, как было указано выше, перед нами пособие, которое с успехом может быть использовано многими интересующимися предметом данного исследования.

**Дитмар РОЗЕНТАЛЬ,**  
профессор, заведующий кафедрой  
стилистики Московского государственного университета.



Сдано в производство 20 декабря 1974 г. Подписано к печати 13 января 1975 г.  
6 печ. листов, усл. листов 8,4. Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.

Заказ 4187

Тираж 4 000

УЭ 00004



Цена 40 коп.

კრთენი  
ისი



ИНДЕКС  
76117



ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ

საქ. კპ ცკ-ის გამომცემლობა